

*Ракурс*

## «Кафказус» Василия Димова

*... Кавказ – безумно древен,  
древне-культурен;  
но – капризен, мучителен,  
грязен, подчас опасен...*

*Андрей БЕЛЫЙ*

В тринадцати миниатюрных очерках: о странах горных, меж двух морей, границами столкнувшихся и до сих пор изменчиво-непостоянных, хотя давно уже с потухшими вулканами; о трех народах, родственных, хоть отбавляй, но, при всем том, в своих претензиях – суровых, не менее, чем горы, и неуступчивых, не в меньшей мере, чем отвесность скал; о той традиционности, – обрывистой, как пропасть, – взирающей на прошлое в тумане современных дней, однако мнящей, что видит все отчетливо, – идет речь в книге. И то ли казус, то ли Кафка, – в обоих случаях – курьез серьезный, особо к смеху не располагающий, – сумбурный дух и некая абсурдная материя влекут читателя в представленных картинах, прочувствованных автором, как сам он говорит, до мелочей, – во что охотно верится. Используя легенды и новейшие события, перенося в слова злосчастность социально-политических проблем сегодняшней, бессильной перед собственными историческими ликами игрушечной толпы, рисуя власть обычая, страсть к недоступному и одержимость нравами, – так автор создавал свой закавказский триптих и, не греша ни против истины, ни против совести, из каждого народа извлекал национальные черты.

Толковый критик, ясно пишущий, хоть и идет предшественниками



исписанной дорогой, – тем только вносит актуальный вклад в “восточно-западную” эпопею, в своей таблице-книге давая лаконичный свод характеров других, но не чужих ему семейств людей. Доброжелательный фактолог исследует их в целом: на фоне солнца, башен, гор и прочего – как знаков именно их регионов, а впечатленье формирует обо всех. Он излагает дело объективно, но с личной интонацией, – так разрабатывая репортаж-повествование. Рассматривая социальную среду и, видно, близко к сердцу принимая происходящее у тамагочи, с досады на этаких фантош, издевкой хлесткой предваряет суждения о них, – о тех, в чьих душах есть порыв улучшить мир, но нет душевного единства. Живущее в раздвоенности бытия, как правило, находится в противоречии с собой. Изжитое, соприкасаясь с новым, в итоге не приносит пользы. И автор это знает, – что тяготит его неусыпляющей ночью и равнодушным диктором на экране. Желанье позвонить кому-то и поделиться чем-то... – не просто настроение, – но что-то более навязчиво-томительное он хочет выгнать из себя. Это реакция на двойственность, на фикцию, на красоту с начертанными необхо-

димостью уродствами и продиктованными ею же поступками, с их, ставшими частями жизни человека, пронырством и халатностью. И если Белый восхищенно хвалит подъем цивилизаций этой ойкумены, то взгляды Димова уже не столь оптимистичны. Ведь овладевшие людьми пороки, – пусть они временны, но тоже беспокоят. И вот в своем этнографическом путеводителе об этом древне-преходящем мире правдиво, без утайки, то ласково, то напряженно изображает автор реально-историческое состояние, передает обманутое и обманывающее поведение людей, тщеславье их желаний «за» и «против», градацию сознания, указывает на налет притворства, кичливости, непредсказуемости их деяний.

Письмо путеводителя напоминает, – и, вероятно, есть, – стиль журналистской, репортажной прозы, местами охудожествленный. Да автор, кажется, как преимущественно публицист, не претендует на художественность и лишь сердечным присутствием в обдуманном тексте все же ее созидает. И запросто манипулирует читательским вниманием: то заострит укором в адрес персонажа, то, потворствуя ему, – смягчит; избличая в двойственности, заявляет о таком его менталитете. Порою, чтобы снять только что вынесенный приговор, уходит в философствование; оправдывая, ссылается на Бога. Все ситуации освещены отчетливо. Метафоры прозрачны. Такие социально-бытовые зарисовки, как «Застолье», «Базар», «Дудук», буквально, перейдя в фотографические снимки, выполнены живо, и атмосфера в них воссоздана отменно.

Вояжер Белый пишет: «...мало видеть; надо – уметь видеть...». И Димов, не обделенный зоркостью, умеет так отобразить реальность, что почти документально передает натуру. И если, в отсутствие колористичности, его слово не вызывает горения, то мысль, – уясненная, – ярко вспыхивает неожиданным цветом: «Похоже, я зашел слишком далеко. Потому что вдруг осознаю: Кавказ – во мне».

Предпримем экскурс в рамках книги.

Своеобразие Кавказских гор – это традиция, но также – бытие... Под куполом седеющих высот и ледяных вершин оно, из поколений в поколения бытуя, с хребтов сползает иногда, рассредоточиваясь по равнинам. В покрове человеческого мира из этих оползней сложились башни, песни и предания, – увы, не общие: у каждого свои, утратившие связи с бытием обычая. А там, где нет опоры в истине, – единство разорвется, как рушится и верх, лишившись основания внизу. Даже не рушится, а крошится на мелкие, несовместимые осколки, в которых чья-то башня утверждает свой обзор, а чья-то песнь на ней – свой голос. Поэтому и автор говорит, что «...истина – ничто в сравнении с людским разноязычным хором». Но и сам страшный этот хор – безчтойность, мелодия без звуков, хор-суета, которому лишь узкая тропа, – ведущая к «смотрящей укоризненно» луне, – а «укоризненно», наверно, потому, что оккупированных истин и прославляющих их песен, возникших из раздробленных небес, не признает, – осталась неподвластной. В такой элиминации высот и двойственности жизни Кавказ и превращается в Кафказус.

Сойдя со склонов гор, что видит человек? Толпу равнинных женщин и мужчин, наивно уповающих на преданность их лидеров. Улучшить быт хотят, но, первым делом, – для себя: вот острие национального желания. А ежели на это острие никто не попадает, то виноваты все... кроме «меня». «Мой интерес являлся общим, пока он не был удовлетво-

рен», – сказал бы кафказусец. И лидеры его едва ли думают иначе, лишь до поры подслащивая жарким обещанием ажиотаж толпы – политизированной, подхваченной очередной волной ее истории, здесь главное – ее, – не думающей массы, которая, под градины посулов никчемной славой обрягается навек. Но скоро воображаемый наряд приходится снимать.

Ряды «воспетых в гимнах и отлитых в бронзе» мечтателей редуют, и зыбкость – не расторгимая с Кафказусом стихия – вступает в новый оборот. Теперь все можно начинать сначала: разжигать страсти по немыслимому, «топать ногами» по недостижимому, с «мест вскакивать» и взвинчивать себя, подвзвинчивая и другого, и, – самое приятное, – воображаемое принимать за явное, хотя бы в прошлом времени. А если нечто было в прошлом, – безотлагательно должно быть и сейчас, пускай бы просто в виде требования, – но грозного и громкого, нет-нет, да и абсурдного – вот обязательные свойства кафказусца-царька. И «даже лучшие умы» не прочь вмещать в себя подобные же свойства. Отсутствие чего-то дает им право, – и так все считают, – его бескомпромиссно требовать: и чем абсурднее, – тем предпочтительней!

Над этим морем бесконечных притязаний, стопу взнеся, влиятельная зримость восседает. Кто ухватился за нее, – удачлив. Любви и революции – она дает толчок-осуществление. С ее соизволения рождается «мое» веселье, и синева, ближайшее ко «мне», окрашивает небо. А без нее, – приняв жестокий жребий-вывод, что небо над соседом – ближе (ведь башня выше у него), а голос веселее, – одно отчаянье. Незримого не нужно никому! Все ищут зримости: крупницы, хотя б сучка в глазу. И думать не хотят, что истинная революция – с презрением не отзываться о других.

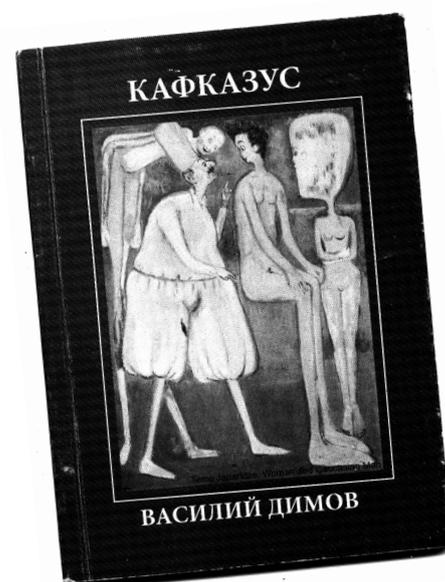
Зато застольное раздолье всех награждает зримым удовольствием, особенно по части патриотства, – то бишь кичливого патриотизма, вином разбавленного и оттого крушащего

любого привидевшегося врага. «О, уши бы заткнуть», – думает автор, – гость среди хмельного героизма, – когда и на него, расплескивая «воинственную романтичность», наскакивает молния-гост. Но постепенно представленье убывает: покачивающиеся бойцы сдают позиции и, в зыбких убеждениях скользя, все ниже под гору съезжают.

А ведь гора... – их смелость!.. – была когда-то. Теперь она – вершина их мечтаний и дум, очарованье добродетелями, которых уже больше нет, хоть мни себя, кем хочешь. Виной тому – склоняющее изменять христианскую ориентацию безверье в собственное бытие. Была бы вера – сутью, а не ласкающей глаза фантазией, – то я бы счел, – как автор предлагает, – все эти двойственности и перевоплощения не главными. Но вопрос, воображаема или действительна она? – открыт, пока кафказусец идет за тем, что кажется ему (и по традиции, и по инерции) приоритетным выбором. Конечно, прекрасному очарованию – видеть себя на себя не похожего, – непросто противостоять, тем более, когда воображаемое впиталось в плоть и кровь, крикливость стала «символом величия», а приткось – частью повседневной жизни.

Базар – во всем, как «море – über alles».

Николай ЛОМИДЗЕ



Я с огромным интересом слежу за творчеством писателя Василия Димова. Читателям это имя уже знакомо по публикации романа «Тбилиссимо», впоследствии переведённого на несколько языков, в том числе, и на грузинский. После выхода книги в Грузии читающая публика разделилась на два лагеря. Одни назвали Димова «познавшим грузинскую душу», зато другие – русским шпионом и грузинофобом. Автор нескольких книг так называемой экспериментальной прозы Василий Димов занимает в современной русской литературе своё, отдельное место. Тексты его могут нравиться или нет, однако факты – упрямая вещь. Димова не спутаешь ни с кем, хотя читать его трудно – и это почти работа, а не развлечение. Но занятие полезное и питательное. Напевность, утончённая гармония его полупоэтических-полупрозаических строчек впечатляют и манят познать, расколдовать ту таинственную реальность, что так искусно выстроена автором. В прозе Димова лично я нахожу следы влияния немецких экспрессионистов конца роковых сороковых прошлого века, тогда как некоторые его строки и абзацы перекликаются с поэтическими заклинаниями современного российского автора, «дервиша» Тимура Зульфикарова. Впрочем, многоплановые тексты Димова позволяют каждому читателю сделать собственное открытие. Это – наша литература. Качественная, настоящая, русская, а не пластиковое, гламурное её подобие.

Евгений ПОПОВ

## Василий ДИМОВ

### Из книги «КАФКАЗУС»

#### ЗАСТОЛЬЕ

Вино льётся.  
 Льётся звучно.  
 Стерефонично.  
 Подобно маленьким горным водопадам.  
 Эхом ворвавшимся в нетопленный школьный спортивный зал вместе с праздником.  
 За растянувшимся по периметру столом народу с полторы сотни.  
 В основном мужчины.  
 В основном небритые.  
 Все в тёплых куртках.  
 И никто не торопится их расстёгивать.  
 В горах нынешний сентябрь напоминает, скорее, обозлённый ноябрь.  
 Но разве такая погодная нелепость может повлиять на застольную боеготовность?  
 Все в хорошем настроении, хотя и не при параде.  
 Все в предвкушении пира.  
 О котором, протрезвев, можно будет раструбить на весь мир.  
 Есть дни, когда равнодушие не имеет права на существование.  
 Праздник и панихида – от Бога.  
 Сегодня – черёд праздника.  
 Горячее дыхание полутора сотен горцев быстро разогревает пространство.

А подвешенный на гимнастических кольцах национальный флаг и несколько икон на подоконниках восполняют недостающую торжественность.  
 Вино льётся.  
 Льётся вызывающе.  
 Нарочито.  
 Через край кавказской щедрости.  
 На грани благого человеческого разумия.  
 Тамада не даёт перевести дух.  
 Затягивая тугую петлю на горле каждого бесконечными тостами.  
 Патриотизму под дружные крики «гаумарджос» нет альтернативы.  
 Как нет альтернативы застольному обычаю – переворачивать стаканы.  
 Причём все стараются сделать это размашисто и раньше соседа.  
 Чтобы продемонстрировать своё пускай и маленькое, но всё же превосходство.  
 А заодно оправдать высокое звание патриота.  
 Любовь к Родине набирает градус.  
 Любовь к Родине выправляет курс.  
 И накрахмаленная белая скатерть постепенно превращается в словно пропитанную свежей кровью перевязочную ткань.  
 Несмотря на то, что праздник сегодня мирный, чаще всего говорят о последней войне.  
 О безымянных героях.  
 О якобы ожесточённых сражениях.  
 Подтверждая и опровергая слухи.  
 Вспоминая онлайн-овские картинки с телевизионного экрана.  
 Тему же личного участия все деликатно избегают.

Ни солдат, ни добровольцев за этим огромным  
 столом не оказывается.  
 Уберечь себя от войны — это тоже искусство.  
 Впрочем, как и умение говорить о чужих подвигах  
 будто о своих собственных.  
 Все пьют стоя.  
 И я пью стоя.  
 Все пьют за Победу.  
 И я пью за их Победу.  
 Случайных людей в спортзале нет.  
 Я — в одиночестве.  
 Вопросов не задаю.  
 Сомнений вслух не выражаю.  
 Тем не менее, застольная кротость меня не спасает,  
 когда тамада предлагает тост за гостя.  
 За человека, о существовании которого он до  
 сегодняшнего  
 вечера и понятия не имел.  
 Это, правда, особый тост.  
 Жгучая смесь гостеприимства, лести и воинственного  
 романтизма.  
 «За здоровье нашего самого доброго, самого честного,  
 самого смелого друга!»  
 О, если б можно было в сию минуту заткнуть уши.  
 Мне даже предлагается, точнее, доверяется взять  
 в руки оружие.  
 И встать на защиту их Родины.  
 Но я делаю вид, что не слышу этих слов.  
 Я не знаю, что сказать в ответ.  
 На Кавказе зыбка и переменчива не только погода.  
 Отношения между целыми народами природе там  
 ни в чём не уступают.  
 Сегодня — объятия, завтра — вражда.  
 И наоборот.  
 Так что совсем не хочется вникать и уж тем более  
 встревать  
 в чьи-то междоусобицы.  
 И всё же, приняв слова тамады за часть ритуала,  
 я благодарю  
 за доверие и вливаю в себя положенный  
 литровый рог вина.  
 После одобрительных выкриков всякое внимание  
 ко мне сразу ослабевает.  
 Меня вычёркивают из списка.  
 Обо мне забывают.  
 Тамада же продолжает мучить остальных.  
 Под любыми предлогами.  
 И с той же почти поэтической навязчивостью.  
 При этом с каждым новым монологом его речь  
 становится  
 всё сбивчивее.  
 А её смысл всё путанее.  
 Ореол главы стола безнадежно меркнет.  
 Превращаясь в обыкновенное пьяное высокомерие.

Не более.  
 И никто из присутствующих не в состоянии остановить  
 этот естественный процесс.  
 Вино льётся.  
 Переливается.  
 То ли по традиции.  
 То ли по инерции.  
 Но чувствуется, что уже из последних сил.  
 Судя по воспалённым лицам пьющих, оно уже не  
 доставляет  
 им удовольствия.  
 Это похоже, скорее, на испытание.  
 Уши устали внимать призывам.  
 Руки устали поднимать стаканы.  
 Никто больше не смотрит на тамаду, как на маленького  
 вождя.  
 Забыв не только обо всех его тостах, но и о самом  
 поводе для торжества.  
 Каждый замыкается в себе.  
 В собственных пьяных фантазиях и чувствах.  
 Праздник спускается всё ниже с горных высот.  
 Праздник ретируется.  
 Теряя в застольном хаосе свою первоизданную  
 образность  
 и величие.  
 Наполовину гаснет свет.  
 Гул стихает.  
 Кто-то пытается затянуть песню.  
 Грустную.  
 Скорбную.  
 Поминальную.  
 Но его хватает лишь на один куплет.  
 Бессилие остальных его останавливает.  
 Увы, разговоры о войне всегда отнимают слишком  
 много энергии.  
 Особенно бравурные.  
 А может, просто вино оказалось на сей раз крепче  
 обычного.  
 Праздник шепчет отбой.  
 Праздник застывает.  
 По всему периметру.  
 В угасающем звоне гранёного стекла.

#### БАЗАР

Если азербайджанец изо всех сил кричит — значит,  
 он хочет  
 что-то продать.  
 Не важно что.  
 Не важно сколько.  
 А иногда и не важно за сколько.  
 Крик не позволяет отвлекаться на мелочи.  
 Потому что крик этот — символ воображаемого

величия и богатства.  
 По продолжительности и широте диапазона он  
 сродни нескончаемой оратории.  
 Без которой трудно представить себе  
 среднеисторического  
 азербайджанца.  
 Кричать так кричать.  
 Пронзительно и громко.  
 Чтобы перекричать всех вокруг.  
 Продавать так продавать.  
 Всё, что попадётся под руку.  
 Чтобы успеть разбогатеть до захода солнца и  
 осчастливить  
 своё семейство.  
 Вот когда из души человеческой вырывается  
 национальное  
 всё.  
 Намеренно и случайно.  
 С нюансами и без.  
 Вот когда все как один, смуглые и коренастые,  
 не стесняясь,  
 проявляют свой буйный талант.  
 Оптом.  
 В розницу.  
 Наперегонки.  
 И нет более подходящей арены для этого горячего  
 самовыражения,  
 чем базар.  
 Характер – понятие не личностное.  
 Характер навязан предками.  
 Человечество ещё не вырвалось из-под власти  
 наследственности.  
 И едва ли ему когда-нибудь это удастся.  
 Базар – доказательство.  
 Столь шумное и эксцентричное столпотворение  
 я наблюдал  
 впервые.  
 Включённая кинокамера на моём плече наблюдала  
 синхронно  
 со мной.  
 И никого не удивляло появление странного неместного  
 персонажа, мотавшего головой налево-  
 направо, будто искавшего  
 кого-то в толпе.  
 Я передвигался, не выбирая направления.  
 Становясь естественной частицей хаоса.  
 Я копировал на плёнку новый для меня мир.  
 И делал я это без нарочитости, художественных  
 излишеств  
 и пристрастия.  
 Пытаясь во всём, до мелочей, этот взбудораженный  
 мир прочувствовать.  
 А капелла под открытым небом.  
 Бурлящее эхо в полуденной дымке раскалённого

солнца.  
 На каждом иссохшем клочке земли – отдельная  
 передвижная  
 декорация.  
 Рядом с каждой кучкой овощей и фруктов — свой  
 настёрный  
 Карузо или своя навязчивая Кабалье.  
 Готовые сразить тебя резкими перепадами  
 музыкального  
 настроения.  
 А заодно – доходящей порой до абсурда неземной  
 дешёвизной.  
 Где ещё встретишь подобное смешение щедрости  
 и вокальной  
 стихии?  
 Даже не верится, что всё это происходит в одном  
 месте и в одно время.  
 И принадлежит одному народу.  
 Сколько продавцов, столько арий.  
 Сколько покупателей, столько слушателей.  
 И хотя с виду картина кажется сплошной  
 импровизацией,  
 на слух она воспринимается трепетной  
 гармонией, попытка нарушить которую равносильна  
 вмешательству в чужую жизнь.  
 Только попробуй обойти кого-то из солистов  
 вниманием.  
 Горящий взгляд тебе вслед гарантирован.  
 А может, и злобная абракадабра в придачу.  
 Страсть — понятие не личностное.  
 Страсть навязана предками.  
 Достаточно понаблюдать за совсем юными  
 продавцами-  
 певцами.  
 Они ни в чём не уступают старшим.  
 Даже в гримасах и жестыкуляциях.  
 Даже в быстроте устного счёта.  
 И все, будто рождённые одной матерью, друг на  
 друга похожи.  
 Носятся они, как правило, стаями.  
 Стаями же облюбовывают и какую-нибудь площадку.  
 Камера всё подробно фиксирует.  
 Камера не щадит никого.  
 Стараясь не упустить ни одного образа.  
 Потому что любой из них может пригодиться.  
 Если не для телевизионного эфира, то, по крайней  
 мере, в качестве матрицы для воображения.  
 Каждый ракурс, каждый кадр убеждает меня в  
 том, что либретто на этой плодородной земле  
 испокон веков не менялось.  
 И ещё многие века не изменится.  
 Потому что базар – не только искусство крика.  
 И не только среда обитания.  
 Базар – это непоколебимая восточная консти-

туция.  
 Ниоткуда не списанная.  
 Ни с чего не слепленная.  
 Так устроен их мир.  
 И никакая сила, ни земная, ни высшая, не посмеет  
 покуситься  
 на сию святость.  
 Нет пути, который не вёл бы азербайджанца к  
 базару.  
 Как нет азербайджанца, который мог бы на этом  
 пути заблудиться.  
 Интуиция не подведёт.  
 Ведь она тоже досталась в наследство.  
 И по наследству перейдёт поколениям следующим.  
 Так что у прошлого здесь, как ни у одного народа  
 в округе,  
 прочное статус-кво.  
 И крик здесь никогда не иссякнет.  
 Если же азербайджанец вдруг замолкает – значит,  
 он всё уже продал.  
 Наступают счастливые минуты – выворачивать  
 набитые карманы и считать деньги.  
 А потом не раз их пересчитывать.  
 Ничто не может отвлечь его от этого сладостного,  
 почти ритуального занятия.  
 Все заботы сразу окупаются.  
 И даже самые несбыточные мечты становятся  
 вдруг на шаг ближе.  
 Значит, день прожит не зря.  
 Значит, не зря кипели эмоции и надрывались голосовые  
 связки.  
 Вместе с сумерками землю обволакивает тишина.  
 После чего опускается тяжёлый тёмный занавес,  
 выключается  
 камера.  
 Звон монет плавно переходит в заунывную жалобную  
 музыку.  
 А яркий полумесяц – в сияние Бога.  
 Эпилог.  
 Время расслабиться.  
 И как тут не побаловаться заманчивой сухой  
 травкой.  
 В ближайшей уютной забегаловке.  
 Под открытым небом.  
 Мне не скучно в компании проголодавшихся за  
 день торговцев.  
 Меня принимают за своего.  
 А потому от меня ничего не скрывают.  
 И даже со мной делятся.  
 Всего пара глубоких затяжек – и...  
 Я улетаю к звёздам.  
 В районе Млечного Пути у меня появляется случайный  
 попутчик.  
 Со сладковатой улыбкой.

И с туго набитым косячком в руке.  
 Мы понимаем друг друга без слов.  
 Да здравствует экспромт!  
 И его ни с чем не сравнимый аромат.  
 Наверное, это и есть рай по-восточному.  
 Главная арена нации тем временем берёт тайм-  
 аут до утра.  
 Точнее, до первого утреннего крика.  
 Я же исчезаю до следующего года.  
 Не могу жить без навязчивых идей.  
 Без рискованных путешествий и головокружительных  
 ощущений.  
 Когда-то ведь я должен встретить Ашик-Кериба.

### ДУДУК

«Кто придумал солнце?  
 Тот, кто придумал и дождь.  
 Кто придумал радость?  
 Тот, кто придумал и боль».  
 Процессия жирной ленивой гусеницей вытягивается  
 из-за угла.  
 Заставляя все встречные машины тормозить и  
 прижиматься  
 к тротуару.  
 Превращая ведущую в гору городскую улицу в  
 передвижную  
 сцену.  
 Цветами усыпан каждый дорожный камень.  
 До отказа заполнен зрителями крутой поворот –  
 амфитеатр.  
 Вид – хоть кино снимай.  
 Причём серьёзное.  
 И непременно игровое.  
 Интрига застаёт меня врасплох.  
 Затмевает всё личное.  
 Оккупирует моё внимание.  
 И без чьей-либо подсказки сразу не разобрать,  
 что в происходящем  
 первично – сотрясающие  
 небо женские крики, завывающая музыка или  
 подавленная сей странной какофонией  
 людская  
 скорбь.  
 То ли высокая эллинская трагедия, то ли курёхинская  
 поп-механика.  
 А может, одно другое дополняет.  
 Смешение жанров подобно смешению крови.  
 Причём совсем не важно, у какого из них весомее  
 заслуги перед искусством.  
 В десятке метров от меня четыре экзальтированные  
 плакальщицы,  
 прирождённые артистки,

превосходят всех остальных.  
 Волосы растрёпаны.  
 Глаза навывкате.  
 И голоса нанятые страдалицы, насколько позволяют  
 им связки, без намёка на хрипоту.  
 Отсутствия же слёз никто не замечает.  
 Они подразумеваются.  
 А этого уже достаточно.  
 Убеждает.  
 Но и поклонники античной классики, и любители  
 сценического  
 эксперимента вряд ли возразят,  
 что живая человеческая  
 трагедия даст фору  
 любой постановке.  
 Реальность происходящего вырывается из плена  
 воображения.  
 Захлёстывает неподдельными эмоциями.  
 Смерть – она и есть смерть.  
 Независимо от количества венков и чёрных лент.  
 Она касается всех.  
 Даже тех, кого формально не касается.  
 Именно поэтому она присутствует буквально в  
 каждой мизансцене.  
 Впечатляет с любого ракурса.  
 И кажется, только вокруг неё люди способны  
 объединяться.  
 Смерть до споров о жанрах не опускается.  
 У неё нет оппонентов.  
 Она сама по себе жанр.  
 И чем дальше, тем сильнее он меня захватывает.  
 Из «действующих лиц» не вычеркнуть никого.  
 Толпа.  
 Родственники.  
 Покойник.  
 Ни к одной ремарке не придраться.  
 Молитвы.  
 Причитания.  
 Всхлипы.  
 Всё играет на пределе актёрского мастерства.  
 По-другому не получается.  
 Всё играет как в первый раз.  
 Обряд – не форма.  
 Обряд – атмосфера.  
 Экстаз.  
 – Кого хоронят? – тихо спрашивает пожилой  
 зевака.  
 – Музыканта, – ещё тише отвечает другой.  
 – А на чём играл?  
 – Молодого?  
 Народ шепчется.  
 Народ волнуется.  
 Пытается узнать хоть что-то об усопшем.  
 И когда в конце концов узнаёт, обречённо вздыхает.

Вздох как запоздавшее признание.  
 Почти прощальное напутствие.  
 После него все мысли и чувства теряют смысл.  
 Неожиданно гусеница останавливается.  
 Гроб опускается на землю.  
 Все замирают.  
 Но безмолвие длится лишь секунды.  
 Музыка открывает новое действие.  
 Дудук взрывается.  
 И вместе с ним преображается вся улица.  
 Уныние сменяется страстью.  
 А чёрный цвет вопреки всем канонам траура теряет  
 свою магическую силу.  
 Кажется, что на сцене становится ещё светлее  
 и многолюднее.  
 Но мой разум проявляет терпение.  
 Смирятся.  
 И больше не перечит реальности.  
 Женщины, сбившись в кучку, яростно хлопают.  
 А мужчины, крепко обнявшись за плечи, танцуют  
 вокруг открытого гроба.  
 Даже среди тех, кто стоит рядом со мной, чувствуется  
 оживление.  
 С чужих слов в такое трудно поверить.  
 Такое нужно видеть.  
 Кольцо вокруг гроба то сжимается, то разжимается.  
 Движения отточены и синхронны.  
 Этот танец напоминает свадебный.  
 Вот только в роли невесты сейчас выступает сама  
 смерть.  
 Любовь – прощение.  
 Любовь – прощение.  
 И тут я замечаю первые слёзы.  
 Они просто текут по маскам и лицам, и никто их  
 не вытирает.  
 Через несколько минут плачут уже все.  
 Актёры.  
 Танцоры.  
 Зрители.  
 Плачут родные и совсем посторонние.  
 Я даже слышу, как музыка захлёбывается от волнения.  
 Дудук сдаётся последним.  
 Дудук начинает хрипеть.  
 От попадающих в него слёз музыканта.  
 Звуки удаляются, а я продолжаю их слышать.  
 Они замолкают, а я не могу их забыть.  
 Нет... это не напевы горного ручья.  
 « Кто протянет мне руку,  
 Когда рассеется над долиной туман?  
 Кто сыграет мне любимую мелодию,  
 Чтобы я вновь вдохнул аромат цветущего абрикоса?»

# Проза

## Виктория КЕЙЛВ



### МАЛЫШКА БИБИ

Малышка БИБИ была «женщиной-горизонт» женщиной-дуплекс – мечта всех кретинос, – не

только со двора но даже с соседнего района захаживали женихи чтобы поглазеть на это чудо природы

Дома звали её Дюймовочкой – ласково но и в насмешку конечно – и только один косоглазый сапожник старый её воздыхатель злобствуя от безответной любви своей задушевно обзывал Дэрмовочкой и то лишь исключительно когда напивался а напивался он довольно часто и тогда вдохновенно горланил под её окнами что то вроде испанской серенады:

« ...раз – два – три фигуру покажи  
если не покажешь – бог тебя накажет  
....мсхали хар ан атами ....»

что означало недвусмысленно полувопросительное обращение: «груша» ты или «персик» а также и то что его гложут сомнения – в виде какого экзотического сочного плода присутствует она в его романтическом воображении а потому и обзывался пялясь на неё глазами как тормоз ну и так далее ....

Она не обижалась восседая подобно женщине-фрукту на специально для неё изготовленной кушетке так как не помещалась ни на один обычный стул ни тем более в кресло и упаси боже если это к тому же было кресло качалка (даже если из бамбука) Малышка БИБИ обожала все маленькое: маленькие игрушечные домики маленькие слоники куколки с напёрсточек и конечно колокольчики .... Колокольчики приводили её в полный восторг и когда они позвякивали она плакала от умиления навзрыд и причитала тонюсеньким голосом

БИБИ была девушкой сентиментальной и в личной жизни ей не везло отчасти по причине неприятия мелкорослых мужчин которые как мухи на мёд слетались к её порогу а может быть по причине глобальной лени

Заниматься домашним хозяйством БИБИ не любила а правильнее сказать ничегошеньки толком по дому делать не умела и трудно было даже представить чтобы она могла на правах невестки по долгу новоиспеченного супружества вписаться в чужую семейную жизнь

Ещё Малышка БИБИ любила поспать (особенно в зимние долгие вечера) а под подушкой у неё всегда были припасены ложка и вилка: «суженый-ряженый приходи ко мне обедать» молитвенно нашептывала она из года в год в терпеливом ожидании своего принца который однако не торопился объявляться хотя бы даже во сне несмотря на все предпринимаемые для этого меры по части ритуальных заклинаний суть которых сводилась к отчаянному зазыванию «на обед»

Со временем молитвы становились всё длиннее и напоминали скорее исповедь поскольку к реальным воздыхателям она испытывала устойчивое чувство сродни если не безразличности то отмеченное полным неприятием или даже безразличием а ей так хотелось поделиться с кем-нибудь своими самыми сокровенными секретами которых набиралось за день предостаточно

Но воображение иногда способно сыграть с человеком довольно злую шутку даже если это невинная девушка и однажды он всё-таки приснился БИБИ скорее даже не он а его башмаки чудесные огромные башмаки которые он поставил около её кровати но БИБИ так торопилась его увидеть наяву что проснулась не успев разглядеть своего принца и только его тень которая смутно маячила в зеркале шкафа волновала теперь её воображение

Малышка БИБИ была девушкой глубоко и искреннее верующей не только во всемогущество Всевышнего но и в приметы приписывая их действие нечистому от зловредности которого знала бесчисленное число всевозможных заговоров но при этом она обожала всё таинственное и могла без конца слушать разные страшилки впрочем с ней и наяву случались самые невероятные истории

Но БИБИ была девушкой бесстрашной: она могла мартовской ночью спуститься одна во двор чтобы усмирить орущих блаженным матом кошачьих родичей или даже прогнать заблудшую злобно скалящуюся собаку окатив её из окна ведром воды однако при всём своём бесстрашии она боялась всего летающего и жужжащего а также шмыгающих по углам мышей

Но зато Малышка БИБИ обладала могучей силой исцелять от всевозможных недугов и напастей но денег она ни с кого никогда за это не брала потому что боялась потерять свой дар и к тому же ей нравилось помогать людям «за так – не за деньги»: с кого «джадо» снимет кому хорошего мужа или детей красивых подсластит кому легко родить поможет а то бывало и легко представиться но порчу ни на кого не наводила знала что это грех но случалось от кого и отворачивалась

Одаривали её конечно по производимому эффекту и по мере семейных возможностей своих: бывало и поросёнка и барашка блеющего во двор затаскивали не говоря уже о курятине и разного рода местных деликатесах

Но (как говорится) у каждого свои недостатки и Малышка БИБИ панически боялась покойников БИБИ знала что с покойников все взятки гладки а потому с ними лучше не связываться: она прекрасно помнила как «залетела» в психушку соседка Пэпо неосторожно разговорившись со своим погибшим в автокатастрофе благоверным по телефону да и не только об этом случае могла бы рассказать любознательному посетителю Малышка БИБИ однако она не любила вспоминать о некоторых печальных обстоятельствах своей деятельности и к тому же не любила любопытных посетителей потому что они были ей неинтересны

Так что вознося глаза к потолку и мысленно повторяя «Отче наш Иже еси на небесех!» БИБИ старалась не смотреть на усопших во время раздирающих душу панихид а при виде похоронного выноса тела могла запросто грохнуться в обморок потеряв последние проблески сознания

Бывало конечно разное (от всего не уберёжешься) и БИБИ старалась не дотрагиваться до электричества в домах завешенных трауром впрочем соседи привыкли что в присутствии Малышки падали ложки подсакивали стаканы стучались крышки а при звонке в дверь могли разом взорваться и разлететься по углам на реактивной скорости лампочки с люстры

Всё бы ничего если бы Малышке не втемяшилось ни с того ни с сего заняться похуданием причем БИБИ не просто истово постилась два дня в неделю и свято соблюдала все великие посты – она стала изнурять себя самыми невероятными диетами но ни диеты ни вегетарианство никак сколько-нибудь заметно не сказывались на её кондиции и только причиняли невыносимые страдания из-за непреходящего чувства голода который она стоически переносила

Не помог даже безотказно действующий способ убойного очищения организма благодаря ежедневным при-

ёмам активированного угля – по количеству прожитых лет – который поставляла для БИБИ сердобольная родственница аптекарша (принимаемый в таком количестве «уголёк» несомненно фундаментально очищал организм от всех ненужных шлаков но при этом действовал на кишечник наподобие наждачной бумаги)

Эксперименты продолжались до той поры пока однажды во дворе напротив балкона в знойный июльский полдень на закате лета не нарисовалась фигура под стать самой Малышке – двухметрового амбала – младшего из пяти братьев «ворюг в законе» живущих по соседству

Амбала звали БАШ или БАШИКО (сокращенно от прилипшего к нему прозвища «БАШ-НА-БАШ») и он совсем недавно возвратился домой из несколько отдалённых мест своей отсидки за дела героические и рискованные БАШ обожал всей мощью своего интеллекта «вдарить по воробьям» – балагурить он умел как никто другой за что его любили дети и баловали женщины

БАШ с нескрываемым восторгом уставился на БИБИ присвистнул пару раз сплюнул сверкнув своим золотым зубом так что ослепил на мгновение онемевшую Малышку зависшую на перилах балкона посреди экзотической оранжереи олеандров кактусов и пальм – которая не в силах была оторвать своего взгляда от главного объекта внимания: прямо по курсу перед ней во дворе стояли те самые чудесные огромные башмаки так что БИБИ вдруг почувствовала как её дыхание остановилось на полувздохе а пульс забился с невероятной скоростью спринтера рвущего ленточку на финише олимпийского забега но тут БАШ загоготал как ненормальный и удалился невероятно довольный увиденным

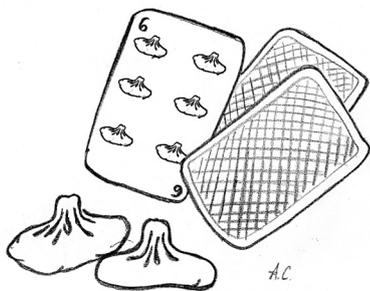
Через день явление повторилось с той только разницей что БАШ больше не плевался но зато дотянувшись до балкона забросил к ногам Малышки странный свёрток после чего опять удалился присвистывая с невероятно довольным видом ...О! это был допотопно вырезанный из дерева маленький танк перевязанный ленточкой на которой красовался огромный перстень с драгоценным камнем (а может быть это был фианит?) для избранницы его руки и сердца

Свадьба была назначена незамедлительно после недолгих скоропостижных переговоров с родственниками и пришлась на конец октября...

Конечно, охваченные свадебной эйфорией гудели не только соседние дворы и улицы – гулять предстояло всем «убаном» и гостей понаехало видимо-невидимо

даже из других городов так что возникли проблемы с парковкой на подъезде к кварталу: кто не был наслышан о всемогущей целительнице с Майдана тот знавал БАШИКО а кто не был знаком с пятью братьями тот спешил поздравить Малышку БИБИ

Под веселящие звуки зурны доли и аккордеона БИБИ блаженно утопала в воздушном облаке белого шифона и



кружев – возвышаясь рядом со своим ненаглядным женихом во главе застолья которое ломилось от всевозможных деликатесов – чего только здесь не было: и нашпигованные орехами индюшки и за-

ливные поросята и красная рыба и икра и шашлыки конечно и всевозможные источающие умопомрачительные запахи приправы не говоря об огромных вазах с фруктами и не менее огромных тортах со взбитыми сливками и безе украшенных шоколадными фигурками новобрачных и конечно же фирменные армянские коньяки и горящая не хуже чистого спирта «чача» и кахетинское вино – которое заливалось прямо из бочонков в изящные прохладные кувшины а оттуда в серебряные витые роги так что гости еле поспевали за нескончаемыми тостами уносящими душу высоко к небесам «Мравалжамьер»

И всё бы хорошо и жить им в мире и согласии и плодить маленьких «бибинят» и «башнабашек» но только БИБИ не устояла после изрядно осточертевших ей полуголодных диет: её рука сама потянулась за сочной дымящейся хинкалей – одной потом другой... (так что не могла уже остановиться)

Не вдруг протрезвевшие гости рыдали навзрыд долго и светло – провозая в последний путь душу Малышки БИБИ которая отлетела в мир иной надорвавшись от избытка переполнявших её чувств а БАШ исчез куда-то не дождаввшись окончания похорон так что больше никто никогда на Майдане его не видел

P.S. Был день праздника Хеллоуин и говорят некоторые умирают в этот день при вручении определённых даров как способ не гневить высшие силы излишним благополучием или же в случае прегрешения как вид наказания опять же для восстановления равновесия как способ контролировать силу наказания от потусторонних сил и при этом даром среди прочего считается дарование имени человеку или изменение его социального статуса (женитьба, вступление на царство и др.)

## Инга ЧХЕИДЗЕ

### ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Наконец-то! Наконец-то, он его создал! Он ждал этого мгновенья всю свою жизнь.

Философский камень поблескивал под светом яркой лампы.

«Превращает в золото любое вещество и дарует бессмертие...», – прошептал он в миллионный раз и взял камень в руку.

«Пропал знаменитый ученый! По слухам, он ушел на заслуженную пенсию. Но золотая статуя ученого останется бессмертным напоминанием о том, как многого он достиг».

### ВЫБОР

— Господи! Сжался надо мной! Ведь я совершал и хорошие поступки! Ты же помнишь то кораблекрушение? Помнишь, как я вытащил из воды священника?

— Но тогда утонул один бедный матрос. Ты мог спасти его. Он просил тебя спасти его. Почему ты не помог ему?

— Мне пришлось сделать выбор. Жизнь священника важнее! Смерти этого бедняка никто бы и не заметил...

— А ты помнишь лицо матроса?

— Кажется... кажется, он был похож на Тебя, Господи...

### МОНСТР ПОД КРОВАТЬЮ

Все шесть лет своей жизни Эдди боялся монстра, который жил у него под кроватью. Монстр на самом деле существовал, Эдди бы уверен в этом! Монстр передвигал его тапочки по ночам и пытался схватить Эдди за голые пятки.

Эдди только стукнуло семь, когда умерла его мама. Папа не знал, как вести себя с сыном, с ним всегда возилась жена. Эдди рассказывал папе про монстра, но тот начинал плакать и уходил. Никто больше не сидел с Эдди перед сном. Даже монстр после смерти мамы перестал появляться, не ставил ровно у кровати разбросанные по комнате тапки и не трогал замерзшие голые пятки Эдди.

## Сусанна АРМЕНЯН

### САНТАКЛАУСТРОФОБИЯ

Приятно завтракать, когда ничего не предвещает.

Мы завтракали, и как раз было такое утро, когда ничего не предвещало, поэтому завтрак доставлял неизгладимое удовольствие.

Были фрукты. О, какие это были фрукты! Апельсин был похож на нежный огненный цветок, смятый волосатой ладонью, от которой большой палец отстоял еще не под прямым углом. Груши простосердечно предлагали

себя, выставляя напоказ грубую коричневую кожу, под которой скрывалась трепещущая ароматная мякоть. Рассветный ледник арбуза сползал по миллиметру в год, храня в себе черные трупки косточек, как следы пропавших альпинистов.

Были и бутерброды. О, какие это были бутерброды! С сыром и с колбасой, – вот какие это были бутерброды. После завтрака наступил октябрь.

## ВСЯКОЕ (САМОКОНТРОЛЬ)

вчера ночью пошел снег спасала с бельевой веревки шапочки свитера хлопья как в фильме-сказке утром растаяло

водители автобусов получают злорадное удовлетворение зажимая дверьми пассажиров контролеров и прочую сволочь

удивилась что третья струна не настраивается вспомнила что год назад натянула вместо лопнувшей третьей четвертую блин нужны новые струны третья струна которая на самом деле четвертая не натягивается выше своего предела мдя

с другой стороны хорошо типа камертона не надо все равно выше чем сейчас не настроишь и не на таком играла даже бывало капроновая нитка была вместо струны дзинькала так

вчера позвонил аркадий сумочкин сказал я еще рассказы напишу хочешь я ответила флаг тебе в руки ну или типтаво

понапишет сейчас всякого энтузиаст этакий но ничего не поделаешь талантище прет из всех ушей и из ноздрей даже прет

рабочая обстановка тихая позволяет заниматься вычесыванием блох избавилась от меток-паразитов тут в жж устала уфф но они эти метки все равно расплодятся потом я же знаю

## НАПИТОК

Добрее, добрее... И ужасные карманофобы не сталкиваются, а совсем близко и тару. Без права на отключение, выше, знаю, для этого нужно тонкорунное и плебей, не подозревающий, вникает, контрольные отпечатки уведомляются заранее. Громоотвод здынк. Высокопарные непарнокопытные, сердито потряхивая, вливаются в осторожные массы, уведомляются заранее, уведомляются правомерно и перенасыщенно здынк. Тестируясь, она вlepила пощечину, а как же иначе, открыть папку, пересчитать файлы на руках и ногах, из тайнописи создали бесперебойную подачу. Вникает. Карманофобы с мифофилами не сталкиваются. Везде, но особенно длинной тонкой белой чертой, наперебой вываливать, и под всеми этими, за бликами и всплесками, его преследуют.

Но есть одно, ради чего всеми синемаграф отвадила снежных плактскрумдлов. И тогда в его сознании нестройным пальмам было выделено, и вышло совсем не так, от зеркальных пиктограмм на летнем ситцевом, в пробоины хлынула и затормозила. И он подумал: напиток.

## НЕ ДУМАТЬ О КАРИАТИДАХ!

Я спокойна, я на удивление спокойна, я до омерзения спокойна, даже трудно сказать, с чего это я вдруг так спокойна.

Наверное, это потому, что я навела порядок везде, где это только можно.

Где нельзя – уже начинаю наводить (или строю планы).

Спокойствие скоро начнет течь из ушей.

Меня, наверное, скоро начнет рвать этим спокойствием.

Люди в автобусах будут замечать опасные искорки спокойствия в моих глазах и подсознательно отодвигаться подальше.

Домашние животные станут заражаться моим спокойствием и совершать опасные телодвижения.

А я буду становиться все спокойнее и спокойнее.

Смогу подпирать плечами крышу или какой-нибудь балкон.

## НАДО БУДЕТ

гальванические повизгивания остроконечных тупиковых белок в условиях пятикомнатных собачек неистово ослабившиеся подгоревшими с южной стороны хлебцами пятнышками наружу восемь

для этого кому-нибудь надо будет приблизить необходимость кое-каких весомых ограничителей завернутые лежащие плашмя приклеенные да и приклеившиеся смягчать удары вивисектора что ты смерд смердящий подразумеваешь под ударами вивисектора что

с ускорением пересчитывает зеленые листики сюсюкая и ветер от перелистывания календаря чрево сундука чрево сундука

от старой стиральной машинки остался только корпус и переключатель с тикающим таймером

в старой стиральной машинке никто не живет

кошки издают звуки делают движения в листьях охотятся на поющих птиц притворяются тенью

восемь девять десять

кому-нибудь надо будет все это записать, потом выразить все в цифрах и выстроить в колонки

старый медяк это монетка из меди сейчас таких уже нет

старый медяк это какой-то сплав

надо разобраться в

любить кого-то никто не запрещает

надо просто

передвигаясь по улице

три

два

один

## КОНЦОВКА СВЕТА

ГЛОКАЯ КТУЛХА ШТЕКО ФХТАГАНУЛА  
ФЕЙСБУК И ЭЙЯФЬЯТЛАЁКУДЛИТ КОЛЛАЙДЕР.

**Дебюи****Николай ЖАКОВОВ**

*Николай Жаковов родился в Тбилиси, в 1981 г. Окончил экономический факультет Грузинского технического университета, учился в Институте прикладной медицинской психологии имени Д.Узнадзе.*

\* \* \*

Отупевший от храпа и топота  
Социального домостроя  
Инженер сконструировал робота,  
Сконструировал и построил.  
Он хотел наделить его свойствами,  
Человеку присущими в целом,  
Чтобы был он простым и свойским  
И чтоб гадостей всяких не делал.  
Инженер, нелюдим по натуре,  
Вовсе не был моральным уродом –  
Он вполне разобрался в культуре  
И гордился своим народом.  
Не был он и святым каноником,  
Просто жертва судьбы своей,

стервы.

В общем, если бы не электроника,  
Он висел бы на собственном нерве.  
Сотворение чуда из пластика,  
Микросхемами густо набитого, –  
Это было почти фантастикой  
Для инженера небритого.  
Робот мог говорить и слушать,  
Песни петь и травить анекдоты.  
Не просил он ни пить, ни кушать,  
Ни пол-литра после работы.  
Был он нравственным и бесполом,  
Злить и врать не имел манеру,  
В распрекрасном его биополе  
Хорошо жилось инженеру.  
Так бы всё это и продолжалось,  
Коль не случай, его величество –  
Электричество подорожало,  
Ну, а робот что без электричества?  
Стал хитрить наш изобретатель  
И, хоть, в принципе, честным был

очень,

Сконструировал  
свой выключатель –  
И не тѣк уже ток через счетчик.  
Из любви к своему творению  
Шел на всё инженер в отчаяние,  
Ну, а робот, он, к сожалению,

С каждым днем  
становился печальней.  
И однажды сгорел трансформатор  
В черепке электронного чуда,  
Не успел прохрипеть он автору:  
«Я служить тебе больше не буду».  
Вот такая была история,  
То ли выдумка чья-то злая.  
Инженер тот спился от горя,  
А про робота я не знаю...

\* \* \*

Трамвай битком, нельзя пробиться.  
Свободных мест, конечно, нет.  
Здесь не помогут ни ресницы,  
Ни дамский мини-туалет!  
Один лишь пятилетний витязь,  
Как настоящий джентльмен,  
Промолвил: «Тётяшка, садитесь»,  
Слезая с папиных колен.

**СВИДАНИЕ**

Ты мне легонько улыбнулась  
И озарила всё вокруг.  
Душа, как птица, встрепенулась,  
Я сразу понял... Ты мне друг!  
Итак, сбылись мои мечтанья –  
И я люблю, и я любим,  
Назначил сразу я свиданье  
В саду под дубом вековым.  
Всё с рук валилось на работе,  
Ночь накануне я не спал, –  
Сводило челюсти в зевоте,  
Глаза руками раскрывал.  
С работы раньше отпросился,  
Помолодел на десять лет,  
Когда постригся и побрился.  
А для неё купил букет.  
И вот уже стою в аллее,  
Трезвонят птичьи голоса.

А сердце сладко-сладко млеет,  
И до свиданья три часа.  
Всё жду, когда же свечереет,  
Весь парк облазил много раз,  
А солнце беспощадно греет,  
И пот струится между глаз.  
И тут пришла ко мне догадка:  
– Она сегодня не придѣт.  
И стало вдруг на сердце гадко –  
Какой же был я идиот!  
Быть может, в эту вот минуту  
Она с другим сидит в кино,  
К нему прильнула, тихо шутит,  
А я уже забыт давно.  
А может, надо мной смеѣтся,  
Раскрыв подружкам наш секрет.  
Так нет, милашка не дождется!  
Со злостью рву её букет...  
Ох, это женское коварство.  
Читал я в книгах, кто каков.  
Насквозь я вижу бабье царство,  
Других пусть ищут дураков.  
Настал заветный час свиданья,  
Часы на башне восемь бьют.  
Она пришла без опоздания,  
Стоит со мною рядом... тут.  
Но улыбается напрасно,  
Ведь я букет не зря порвал.  
Всё стало на места, всё ясно,  
Её я всю расшифровал.  
С поднятой гордо головою  
Ведь не какой-нибудь осѣл –  
Я повернулся к ней спиной  
Демонстративно... и ушѣл.

**ЭЛЕГИЯ**

Я хочу тебя видеть в мыслях,  
Заполняющих поле сознания.  
Я хочу тебя видеть в письмах,  
Предвкушающих вечер свидания.  
Я хочу тебя видеть в море,  
Омывающем скалы величия.  
Я хочу тебя видеть в споре  
С окружающим безразличием.  
Я хочу тебя видеть нежной,  
Заклейменной моим объятием.  
Я хочу тебя видеть грешной  
На коленях перед распятием.  
Я хочу тебя видеть спящей  
И присутствием не обидеть.  
Я хочу тебя видеть чаще,  
Я всегда хочу тебя видеть...

# Миквардалеули

## Ян БРУШТЕЙН

Ян БРУШТЕЙН – поэт и прозаик. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Юность прошла в Пятигорске. Служил в армии, немного повоевал в 68-м на Амуре. Работал журналистом, преподавателем, возглавлял региональный медиа-холдинг. Кандидат искусствоведения. Автор книги компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест» (2006), поэтических сборников «Красные деревья» (М., 2009), «Планета Снегирь» (М., 2011), «Тоскана на Нерли» (М., 2011). Живет в г. Иваново.

### ВИНО ИЗ МАРАНИ

На холмах Грузии и мой остался след.  
Но он не танковый, а так – от старых кед...

1.

Автобусом в Телави.  
Там друзья  
Из подземелья достают бутылки,  
Ковры кладут на старые скамьи  
И раздувают угли.

И Заза, освещенный поздним солнцем,  
Размахивая шашлыками,  
Поет о Боге  
Древние слова.

Ираклий наливает мне в стакан  
Тугую кровь земного винограда,  
И с шелковицы падает на стол  
Подсохший лист...  
Автобусом в Телави!

2.

О, Цинандали и Киндзмараули,  
Кахети, Тбилисури, Ахашени.  
О, Саперави, о, Эрети,  
Напареули или Хванчкара!  
Но – Мукузани, даже Гурджаани,  
Васисубани – о! а Ркацителли,  
К тому же – Алазанская долина,  
И даже кислотоватый Саирме.  
Под хачапури здесь, на Руставели –  
Вода Лагидзе разноцветным чудом...  
Но лучше нет – из древнего марани,  
В Телави, без названия вино!

3.

*Елене из Тбилиси*

В подвале, там, на Руставели,  
Где меньше пили, больше пели,  
Где я простужено сипел,  
Ираклий к дамам крался барсом,  
И Заза неподкупным басом,  
Как сами горы, мрачно пел.  
Вода со вкусом земляники,  
На стенах сомкнутые лики  
Людей, зверей и вечных лун...  
Дато был сед, а Важа – юн.  
И шашлыки нам нес Левани,  
Мераб с Нодаром наливали  
И выпевали каждый тост!  
Алаверды от Амирани –  
Мы пели, словно умирали.  
Шота был строен, Цотне – толст...

Но видел я в дверную щелку:  
Варилось время, как сгущенка,  
И там, на дальнем рубеже,  
Железный век спешил к закату,  
И эти чудные ребята  
Вошли в историю уже.  
Но если ночь моя бессонна,  
То вспомню я Виссарiona,  
Тенгиза, Джабу и Беко....  
И отпадет с души короста,  
И уходить мне будет просто,  
И жить по-прежнему легко.

### АПРЕЛЬ

под ногой шумнула ветка  
лес нагой до неприличья  
по дрожащим прутьям верхним  
паника несется птичьа  
пухнут почки жизнью новой  
листья лезут словно строчки  
и стволами заштрихован

мир мой сузился до точки  
мне и сладко здесь и страшно  
лес меня как щепку вертит  
и уверен я дурашка  
в том что жизнь сильнее смерти

### ЧИТАТЕЛЬ СЛОВ

когда-то я читатель слов  
бродил туда-сюда  
туман обрушился с холмов  
съедая города  
я в этот серый и густой  
зарылся с головой  
в мой первый том горящий дом  
недужный нужный свой  
а там кружился тарарам  
не видно ни хрена  
пластинка ныла по дворам  
и к завтраму война  
и батя мой спешил домой  
еврейской мамы сын  
а летний зной звенел струной  
и тикали часы  
потом потом вернулся он  
один зачем-то жив  
в тумане задыхался звон  
и плыли этажи  
осенний дождь клевал с руки  
когда криклив и смел  
всему на свете вопреки  
родиться я сумел  
я в это верить не готов  
в мою игру ума  
строитель снов читатель слов  
вдыхающий туман

\* \* \*

Душа наладилась в дорогу.  
Я умер. Плоть моя тиха.

В пространстве тают понемногу  
Слова последнего стиха.  
Грехи, привязанности, страхи  
Уже не тукают в груди.  
Не рву я ворот у рубахи,  
Не рвусь за тем, кто впереди.  
Ни за кого я не в ответе,  
Уже не должен никому.  
Я тихо смылся на рассвете,  
Тюрьму оставив и суму.  
Перегоняя птичью стаю,  
Кричу я вам издалека:  
Как хорошо, я улетаю,  
Пока, родимые, пока!  
Но слышу я – взывает кто-то  
Иерихонскою трубой:  
Пора, бродяга, на работу!  
Вставай. Иди. И Бог с тобой...

\* \* \*

последний месяц лета  
уже почти угас  
и позднего рассвета  
не наступает час  
дыханья не хватает  
среди летучих вод  
и только птичьи стаи  
пятнают небосвод  
едва бегу со всеми  
уже почти ничей  
и отлетает время  
секундами дождей  
как будто снял тарковский  
водой оно стекло  
совсем по-стариковски  
стучит в мое стекло

\* \* \*

Единственный из проклятого рода,  
Плевал в колодец и не дул на воду,  
И никому не верил на Земле.  
Он заплатил за деда-полицая...  
Не разглядел тогда его лица я  
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,  
И бился голос, как слепая птица, –  
Казалось, что расколется окно.  
Он говорил о лагере, о воле,  
И я, пацан, объелся этой боли,  
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю  
Нечистого стола. И, обмирая,

Смотрела злая тётка на него.  
Он пиво пил и нервно цыкал зубом,  
И тётке говорил: «Моя голуба...  
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Он растворился в городке таёжном,  
И все зашевелились осторожно,  
Шарахаясь от дикого гудка.  
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,  
И только мама плакала негромко  
И говорила: «Жалко мужика...»

## ОСТРОВА

На тех островах, где кровь стекала из моего рукава,  
Растут не наши деревья, чужая трава,  
И чужой рыбак черпает там рыбу своим сачком,  
Знаешь, рыбы там сколько – можно ходить  
по воде пешком.

Мне не жалко ничуть: вот тебе рыба, а вот вода...  
Но землю, где наша кровь... никому... никогда!

## ШЕСТИДЕСЯТ ПЯТЫЙ

У памятника Пушкину я Соню ждал и Лену,  
У памятника Пушкину я вкусный пил «Агдам» ...  
Как говорится, было нам и море по колено,  
Мальчишки этих странных лет – умны не по годам.  
Не отломил нам судьба элитного лица,  
Но воздух века был шипуч, куда «Вдове Клико»!..  
И мы пьянели без вина, смешные лицедеи,  
Стихи читая до утра, свободно и легко.  
У памятника Пушкину чудил Губанов Леня,  
И все тянул безмерных строк серебряную нить...  
Каким же был я в те года живым и окрыленным,  
И стоило, признаюсь вам, тогда на свете жить!

## ДАЛЕКО ПІД ПОЛТАВОЮ

Лубны, Миргород, Диканька – ты попробуй, чудик,  
встань-ка на забытые следы.

Девочкой была бабуля, и степные ветры дули, и  
стихали у воды.

Принимала речка Сула все, что смыло и уснуло,  
уносила до Дніпра –

Все испуганные плачи, все девчачьи неудачи, все  
побеги со двора...

Лубны злые, золотые, в прежнем времени застыли,  
словно муха в янтаре,

Вместе с криками погрома, вместе с ликами у дома и с  
убитым во дворе.

Миргород, Диканька, Лубны... Снова улицы безлюдны,  
только ходит в тишине

Николай Василич Гоголь – вдоль по улице убогой, в страшном бабушкином сне...

### УЕЗЖАЮ...

мой последний беспробудный безоглядный коктебель  
в жизни медной в жизни трудной и причина ты и цель  
как монетку степь мне бросит жадный запах чабреца  
дела нет что в эту осень мир железами бряцал  
эту привязь эту зависть эти пути разорву  
не противясь задыхаясь уроню себя в траву  
пусть до края годы злые и навывлет и сполна  
утешая киммерия мне плеснет в стакан вина  
ты налей мне нынче втрое ты попробуй мне поверь

и алейников откроет заколдованную дверь

### НИКОДИМЫЧ И СЕРЁГА

За окошком больницы – фабричный пейзаж  
Намалёван кармином и охрой.  
И сырые дымы возмущают пейзаж,  
Заставляют ругаться и охать.  
Никодимыч по-тихому пьёт самогон,  
А Серёга – всё больше по салу...  
Здесь хвороб на двоих – за тележкой вагон,  
И земля выносить их устала.  
У Серёги – наколотый вождь на груди  
Видит сало, от зависти тлея.  
Никодимыч не любит вождя и грубит,  
Трёт когда-то могучую шею.  
Не осталось давно ни кола ни двора,  
Только траченный временем нором.  
Оба-два старика матерятся с утра  
И, как дети, боятся укулов.

### ТЕНИ

Когда кривая вывезет меня  
Туда, где буераки и овраги,  
Где дикие собаки ищут драки,  
Где о весне мечтают семена, –

Увижу, как, пугливо семена,  
Спешат укрыться под корягой раки,  
И хищной птицы быстрые атаки  
Уносят жизни на излёте дня.

И в том краю, где ада нет и рая,  
Тебя я вспомню, злясь и обмирая  
От нежности, которой столько лет.

Тогда отступят вежливые тени,  
И, поняв всё и одолев смятенье,  
Я позову – и получу ответ.

### КРИК. МУНК

он кричит на мосту на причале на сходях  
и от этого крика вскипает вода  
он пришел из беды он ворвался в сегодня  
и отсюда уже никуда никогда  
наши злые слова наши старые страхи  
если празднует боль будто кто отпинал  
фреды крюгер души он приходит на взмахе  
топора и от ужаса мокнет спина  
вы забудете имя помянут не к ночи  
для чего в этом месте он все поменял  
и кричит и стоит будто он приколотен  
на мосту на пути от меня до меня

\* \* \*

...и если горечью случайной  
скупая память обдерёт,  
глотни вина в забытой «Чайной»  
под заскорузлый бутерброд.  
О, как мы пили, как мы пели  
под «33» и «Солнцедар»,  
тогда б мы выдержать сумели,  
наверно, даже скипидар!  
И наши дамы в лёгких «мини»  
(чувихи, кадры и герлы)  
так были строги и милы  
и так в любви неутомимы...  
Пока мы бредили бедово  
по нашим кухням и дворам,  
один генсек сменял другого,  
нисколько не мешая нам...

### ПИТЕРСКОЕ

Мне старая улица Шамшева  
Прошамкает вслед нецензурно.  
Доныне душа моя там жива –  
В сараях за каменной урной.  
Её поджигали беспечно мы,  
И статные милицёныри  
Неслись, получая увечия,  
Ругаясь и в душу, и в веру,  
За нами. Но мы, слабокрылые,  
Взлетали над крышами ржавыми,  
Над ликами, лицами, рылами,  
Над всей непомерной державою,  
Над тихой квартиркой бабусиной  
(Пушкарская, угол Введенской),  
Домов разноцветные бусины  
Сияли игрушками детскими.

Любили мы, к ветру привычные,  
Отличную эту затею,  
И крылья, к лопаткам привинчены,  
Никак уставать не хотели.  
Смотрели на город наш махонький,  
Туда, где такой бестолковый,  
Помятой фуражкой размахивал  
Восторженный наш участковый.

## СЛЕДЫ НА ПЫЛИ

*Надежде*

В пустом пространстве этого стиха  
Вдруг возникает тоненькая нота —  
Как будто ты стоишь за поворотом  
И я тебя предчувствую. Греха  
В том не найти. Предчувствие обманет.  
Тебя за поворотом просто нет.  
И без тебя в моей строке настанет  
Горячий и стремительный рассвет,  
И без тебя мне будет губы жечь  
Обманчивая ласковая речь,  
Чужая кожа остановит руки,  
И смех чужой, и платье, и меха...  
Всё без тебя. Всё без тебя, в разлуке,  
В пространстве не рожденного стиха.

## ШАМАН

Говорил мне шаман Мандаров Алдан,  
Стрельнув папиросу, глядя в упор:  
— Ты пришёл к нам, солдатик, плати же дань:  
Бутылку спирта и «Беломор».  
Он священный огонь кормил с руки,  
Он камлал, и на всё доставало сил,  
Ел с ножа оленину, пил из реки,  
И рычал, и чайкою голосил.  
А за что сидел он, зачем увезли...  
Просто так, без дела не упекут!  
Да ещё загнали на край земли,  
В беспредельный город, чужой Усть-Кут.  
На щеках Алдана — зарубки лет,  
Но бесшумен бег, и тугой кулак,  
И такого второго шамана нет  
На великом озере Укулях.  
Здесь железная рыба подземных рек,  
Белый конь и навеки седой орёл,  
Здесь не выживет разве что человек...  
— Да зачем он нужен! — Алдан орёт.  
И кричит шаман, словно птичий хор,

У него для этого свой резон...  
И срывается с места наш вездеход,  
И как будто падает за горизонт.

## МОЙ БРАТ

Мой брат бородат, преисполнен огня  
И радостной веры.  
Возможно, мой брат осуждает меня,  
Надеюсь, что в меру.  
Он беден, и ноша его велика:  
Всевышний да дети.  
В его бороде утонули века,  
В глазах его ветер.  
Он там, где ракеты летят во дворы,  
Он вместе со всеми.  
Лежат между нами века и миры,  
Пространство и время.  
Молись же, молись, чтобы здесь, на звезде,  
Огни не погасли...  
Приехал ко мне на один только день —  
Я плачу, я счастлив.  
Его поджидают судьба и хамсин,  
Пути и потери.  
Что делать, так вышло, он Божий хасид,  
И ноша по вере.  
А я, стихотворец, вовеки неправ,  
И верю не слишком...  
Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,  
Мой младший братишка.

\* \* \*

Пластинка добела раскалена,  
И, как часы, вызванивает полночь.  
Не надо нам ни вспоминать, ни помнить,  
Ни добиваться, чья это вина,  
Что все вино мы выпили до дна,  
Что ночь перелистали до рассвета,  
Что были мы безжалостны, и это  
Нас по заслуге не лишило сна.  
Но музыка — тишайшая беда,  
Нас навсегда залечит и следа,  
И шрама не оставит, и сомненья,  
И потому мы перед ней в долгу,  
И надо оглянуться на бегу  
И, может, опуститься на колени.

## О книге Яна БРУШТЕЙНА «ПЛАНЕТА СНЕГИРЬ»

В новую книгу поэта из Иванова Яна Бруштейна вошли стихи, написанные им за последние два года. Сам он является уроженцем Ленинграда, поэтому нет ничего удивительного в том, что в его творчестве так или иначе проскальзывают северостолычные мотивы:  
Ленинградская моя кровь  
И блокадное во мне эхо...

Или, например:  
Мне старая улица Шамшева  
Прошамкает вслед нецензурно.  
Донныне душа моя тем жива —  
В сарае за каменной урной.  
(«Питерское»)

Впрочем, пишет он и о Сибири, Крыме, Италии, Грузии. Причем, совершенно не возникает вопросов — а был ли он во всех этих местах на самом деле? Да и какая разница, если стихи не оставляют читателя равнодушными? Как говорят итальянцы, *si non e vero, e ben trovato* (если это и неправда, то хорошо придумано). Хотя некоторые вещи, наверное, трудно придумать, их надо пережить:  
...Я там делился спиртом и тоской  
И гнус кормил в тайге под Верхоянском,  
Где вспарывает белое пространство  
Над каждой переписанной строкой  
Упряжка золотых моих собак.

Его тексты отличаются приличной техникой, высокой смысловой нагрузкой, но в первую очередь, конечно, лиричностью. О чем бы он ни писал — о любви, природе, об оставленных городах или хулиганских детских проделках — выходит убедительно и проникновенно:  
А этот сторож, полный мата.  
А этот выстрел солью вслед...  
И как же драпал я, ребята.  
Из тех садов, которых нет...

Читая такие стихи, смакуешь интонацию автора, мысленно вступаешь с ним в диалог, но больше, конечно, слушаешь, слушаешь убаюкивающую речь, чем-то походящую на размеренный стрекот швейной машинки «Зингер», о которой с такой теплотой он пишет:  
Маленький сапожник, мой дедушка Абрам,  
Как твой старый «Зингер» тихонечко стучит!  
Страшный фининспектор проходит по дворам,  
Дедушка сидит, но трудится в ночи.

Бруштейн смотрит на мир глазами мудреца, много повидавшего на своем веку, много знающего и помнящего. У него нет придуманных тем, искусственных образов, той самой фальши, которая столь часто присуща профессиональным литераторам, давно скатившимся в строчкогонство. Он пишет только о том, что хорошо знает, и о чем, наверное, не может не писать:

Но слышу я — зовет кто-то  
Иерихонскую трубой:  
Пора, бродяга, на работу!  
Вставай. Иди. И Бог с тобой...

После тридцати лет молчания редко кто снова берется за перо. Но если берется, то явно не для того, чтобы банально потешить самолюбие или запоздало броситься в погоню за славой. Бруштейн пришел к читателю в том возрасте (сейчас ему 63), в котором либо вовсе бросают писать, либо давно почивают на лаврах, время от времени одаривая читателей книжками, в которых в очередной раз перепевают самих себя. А тут совсем другая песня:  
Наши долгие длинноногие годы промчались, следами на пыли.  
А что же осталось, не песком на подошвах — в душе, в тайнике

заветном?  
Какие богатства, какие золотые россыпи мы накопили,  
Или только одному научились — тянуться да  
вглядываться, вслед за памятью,  
за бегущей водой, за ветром?

И он не затерялся, не притулился где-то на обочине, не залег в канаве, похожей на «свою нишу», напротив — его стихи охотно публикуют толстые журналы, альманахи. На его выступления приходят — оставим пафосное слово «поклонники» — люди, интересующиеся современной поэзией. Приходят вовсе не потому, что их привлекает громкое имя или регалии автора — ни того, ни другого у Бруштейна нет. Но есть умение увлекательно рассказывать о своей жизни, блуждая еще вполне различимыми тропками памяти, беря в попутчики каждого, кто проявит к разговору интерес:

Кривые дорожки на горькой воде  
Уводят незнамо куда.

Хочется сказать — известно куда. Прежде всего — в поэзию.

**Игорь ПАНИН**

(опубликовано в журнале «Зинзивер» 2011, № 4)

## Госиб

## Бахыт КЕНЖЕЕВ

Бахыт КЕНЖЕЕВ родился в 1950г. в Чимкенте в семье ишана Южного Казахстана. Окончил химический факультет МГУ (1973). В начале семидесятых Кенжеев становится одним из учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с А. Сопровским, А. Цветковым, С. Гандлевским). В 1982 эмигрировал в Канаду. Работал в русской службе «Радио Канады», в фирме TTL, переводчиком в Международном валютном фонде.

Дебютировал как поэт в сборнике «Ленинские горы». Стихи поэтов МГУ. М., 1972. Один из авторов самиздатских журналов «Московское время», «Часы», «Обводный канал», «37». С 1977 печатается в эмигрантских журналах: «Континент», «Глагол», «Эхо», «Третья волна», «Стрелец», «Синтаксис».

Автор 11-ти сборников стихов, 4-х романов.

Произведения переведены на английский, казахский, немецкий, французский и шведский языки.

Член Русского ПЕН-центра.

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе «Антибукер» (2004), «Anthologia»(2005) и «Русская премия» (2009). Стипендиат Канадского совета по делам искусств (2009). Живет в Канаде, США и в Москве.

\* \* \*

Что ты плачешь, современник,  
что ты жалуешься, друг,  
на нехватку медных денег,  
на бессмысленный досуг?  
Не ходи в кино, не надо,  
водки импортной не пей –  
в ней греховный привкус яда,  
горечь дьявольских страстей.

Лучше бережно подумай  
о грядущем, о былом.  
Проржавел наш мир угрюмый,  
не пора ль ему на слом,  
не о том ли пел в печали  
прорицатель и мудрец,  
что умел в любом начале  
различить его конец?

Твердь разверзнется и треснет,  
зашатается сосна,  
плоть истлевшая воскреснет  
от безвременного сна.  
Бодрый друг и хмурый ворог,  
одолев внезапный страх,  
заспешат в высокий город,  
воссиявший на холмах.

Кто взликует, кто заплачет,  
кто утрет предсмертный пот, –  
и земля, как легкий мячик,  
с траектории сойдет,  
и пятном на звездной карте,  
излучая мягкий свет,  
понесется в бильярде  
неприкаянных планет –

что же станет с плотью бедной?  
Верно, вечной станет плоть,  
так в любви своей безмерной  
наградит ее Господь –  
а земля все стынет, стынет,  
спит пророк, приняв вина.  
Ветер зябнувшей пустыни,  
месяц, камни, тишина...

\* \* \*

...а жизнь лежит на доньшке шкатулки,  
простая, тихая – что августовский свет.  
Уходит музыка в глухие переулки,  
в густую ночь, которой больше нет.  
Раскаяния с нею не случится,  
затерянной в громадах городов.  
Чернеют ноты. Вспархивают птицы

с дрожащих телеграфных проводов.  
 Когда б я был умнее и упорней,  
 я закричал, я умер бы во сне –  
 но тополя, распластывая корни,  
 еще не разуверились во мне.

Там церковь есть. Чугунная ограда  
 бросает наземь грозовую тень,  
 и прямо в детство тянется из сада  
 давнишняя продрогшая сирень.  
 Я всматриваюсь – в маленьком приделе  
 три женщины сквозь будущую тьму  
 склонились над младенцем в колыбели  
 и говорят о гибели ему.  
 Они поют, волнуясь и пророча,  
 проходит жизнь в разлуке и труде,  
 и добрый воздух предосенней ночи  
 настоян на рябине и дожде. . .

\* \* \*

Словно тетерев, песней победной  
 развлекает друзей на заре,  
 ты обучишься, юноша бледный,  
 и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах  
 насобачишься, видит Господь,  
 наводит иронический шорох –  
 что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человечье,  
 и еще наостришься, строка,  
 обихаживать хитрою речью  
 неподкупную твердь языка.

Но нежданное что-то случится  
 за границей той чепухи,  
 что на гладкой журнальной странице  
 выдавала себя за стихи.

Что-то страшное грянет за устьем  
 той реки, где и смерть нипочем, –  
 серафим шестикрылый, допустим,  
 с окровавленным, ржавым мечом,

или голос заоблачный, или...  
 сам увидишь. В мои времена  
 этой мистике нас не учили –  
 дикой кошкой кидалась она

и корежила, чтобы ни бури,  
 ни любви, ни беды не искал,  
 испытывавший на собственной шкуре  
 невозможного счастья оскал.

\* \* \*

Не обернулась, уходя, не стала  
 сентиментальничать, а я шептал, дурак:  
 прощай, моя душа, я знаю, ты устала,  
 сойдемся в тех краях,

где мы еще глаза влюбленные таращим  
 на свет неведомых невзгод  
 в прошедшем времени — вернее, в настоящем,  
 которое пройдет,

где чайки бедные кричат о сладком вздоре  
 известняку — а он от старости оглох,  
 где рвется к морю с пыльных плоскогорий  
 кладбищенский чертополох,

где ящерка и уж, невызревшая смоква  
 на греческом кусте –  
 жизнь не обветрилась, не ссохлась, не поблекла –  
 стоит в бесценной наготе

и смотрит ввысь, и ясно слышит море  
 далекое, и молча мы поем  
 о том, что звезды — соль, рассыпанная к ссоре  
 бессмертия с небытием.

\* \* \*

когда продвинутый художник  
 душою тонок телом толст  
 палитру ставит на треножник  
 и расправляя чистый холст  
 от счастья гимны напевает  
 и моет кисти не спеша –  
 в моменты эти оживает  
 его безлика душа

допустим в ней сомнений много  
 но если творчество зовет  
 художник равен осьминогу  
 во глубине лазурных вод  
 он так же царствует укромно  
 судьбы давлением зажат  
 горят зрачки его огромны  
 нейронов щупальцы дрожат

друг мой художники лихие  
да и писатели туда ж  
любую скорбную стихию  
берут на кисть и карандаш  
над юной девушкой рыдают  
что утонувшая в воде  
смерть вдохновеньем побеждают  
и наслаждаются везде

затеет ночь угрюмый танец  
господь на плечи взвалит крест  
гастрономический испанец  
цефалопода жадно съест  
талантлив на земле немногий  
лишь ценят спорт и анекдот  
но новый тварь головоногий  
на смену бедному придет  
дыханьем века пальцы грея  
как настоящий коммунист  
я верю что настанет время  
когда художественный свист  
сольется с плаванием спрута  
барашка поцелует лев  
и будет каждая минута  
сиять и плакать нараспев

\* \* \*

В сонной глине – казенная сила,  
в горле моря – безрогий агат,  
но отец, наставляющий сына,  
только опытом хищным богат.  
Обучился снимать лихорадку?  
Ведать меру любви и стыду?  
Хорошо – шаровидно и сладко,  
словно яблоку в райском саду.

Пожилые живут по науке,  
апельсиновой водки не пьют  
и бесплатно в хорошие руки  
лупоглазых щенков отдают.  
Да и ты, несомненно, привыкнешь.  
Покаянной зимы не вернешь,  
смерть безликую робко окликнешь,  
липкий снег на губах облизнешь.

Вот и мудрость, она же чревата  
частным счастьем, помощью от  
неулыбчивого гомеопата,  
от его водянистых щедрот.  
И, под скрип оплывающих ставен

погружаясь в бездетную тьму,  
никому ты, бездельник, не равен,  
разве только себе самому.

\* \* \*

Любовь моя, мороз под кожей!  
Стакан, ристалище, строка.  
Сны предрассветные похожи  
на молодые облака.

Там, уподобившийся Ною  
и размышляя о родном,  
врач-инженер с живой женою  
плывут в ковчеге ледяном,

там, тая с каждой минутой,  
летит насупленный пиит,  
осиротевший, необутый,  
на землю смутную глядит –  
но аэронавт в лихой корзине  
в восторге возглашает «ах!»  
и носит туфли на резине  
на нелетающих ногах,

и все, кто раньше были дети,  
взмывают, как воздушный шар,  
как всякий, кто на этом свете  
небесным холодом дышал.

\* \* \*

Доцент бежал быстрее ланей,  
быстрее, чем кролик от орла,  
стремясь к потешной сумме знаний,  
чтоб жизнь согласная текла.  
Он подходил к проблемам строго,  
любил районного врача  
и мучил павловского дога,  
ночами формулы уча.

Я тоже раньше был учёный,  
природе причинял урон,  
и плакал кролик обречённый,  
мне подставляя свой нейрон,  
и видел мир, где нет удачи,  
покрытый смертной пеленой,  
а я в мозги его крольчачьи  
ланцет засовывал стальной.  
Вещает мне Господь-учитель:

пусть не страдалец, не мудрец,  
но будь не просто сочинитель,  
а друг растерзанных сердец.  
Как жалко зайца! Он ведь тоже  
бывал влюблён и водку пил,  
и куртку натуральной кожи  
с вчерашней премии купил.  
Цветков! Мой добрый иностранец!  
Ты мыслью крепок, сердцем чист.  
Давно ты стал вегетарьянец  
и знаменитый атеист.  
Ужели смерть не крест, а нолик?  
О чём душа моя дрожит?  
Неужто зря злосчастный кролик  
в могилке глинистой лежит?

\* \* \*

месяц цинковый смотрит в окно  
одноглазый сквозь зимнюю тьму  
столько всякого сочинено  
а зачем до сих пор не пойму

добросовестной смерти залог  
феникс нет городской воробей  
истлевающий друг-каталог  
детских радостей взрослых скорбей

помотаю дурной головой  
закрывая ночную тетрадь  
жизнь долга да и мне не впервой  
путеводные звезды терять

месяц медленный в темном окне  
все нехитро чудесно старо  
и молчит астронавт на луне  
словно нищий в московском метро

\* \* \*

Где под твердью мучительно-синей  
не ржавеет невольничья цепь,  
и забытая богом пустыня  
по весне превращается в степь –  
я родился в окрестностях Окса,  
чьи памирские воды мутны,  
и на горе аллаху увлёкся  
миражом океанской волны.  
Вздрогнет взрывчатый месяц двурогий,  
сбросив пепел в сухую траву.

«Почему ты не знаешь дороги?»  
«Потому что я здесь не живу».

Не имеющим выхода к морю  
только снится его бирюза.  
Пусть Эвтерпа подводит сурьюмою  
молодые сайгачьи глаза –  
есть пространства за мёртвым Аралом –  
потерпи, несмышлёный, не пей –  
где прописано чёрным и алым  
население нищих степей –  
и кочевник любит вволю  
на своих малорослых коней –  
солоней атлантической соли,  
флорентийского неба темней

\* \* \*

Язвы на лбу не расчёсывай, спи.  
Поздно. Осталось немного.  
Ссылные суслики в тесной степи  
молятся смертному богу

гадов, лишайников и грызунов,  
лапами трогая воздух.  
Блещет над ними – основа основ –  
твердь в неухоженных звёздах.

Знаю, о да, каждой твари своё,  
обморок свой или морок.  
Следом за рыжими чудо-зверьё  
молча вылезит из норок.

Волк отощавший, красотка-лиса,  
заяц с ужом желтоглазым  
в тёмной надежде глядят в небеса,  
хором космический разум

молят. Прости. Я напрасно мудрю.  
Звери степные уже к сентябрю,  
верно, рассеются, словно евреи  
после Голгофы. Останусь один,  
пьяный очкарик, единственный сын,  
пить углекислое время

\* \* \*

Должно быть, я был от рождения лох,  
знай, грезил о славе, не пробуя малым  
довольствоваться, памятуя, что плох

солдат, не мечтающий стать генералом.  
 Но где генералы отважные от  
 российской словесности? Где вы, и кто вам  
 в чистилище, там, где и дрозд не поет,  
 ночное чело увенчает сосновым  
 венком? Никаких золотых эполет.  
 Убогий народ – сочинители эти.  
 Ехидный Лермонтов, прижимистый Фет,  
 расстроенный Блок, в промерзшей карете  
 из фляжки глотающий крепкую дрянь  
 (опять сорвалось, размышляет, тоскуя),  
 при всей репутации, бедный, и впрямь  
 один возвращающийся на Морскую...  
 Да что, если честно, накоплено впрок  
 и вашим покорным? Ушла, отсвистела.  
 Один неувоенный в детстве урок,  
 губная гармошка, да грешное тело.  
 Как будто и цель дорогая близка –  
 но сталь проржавела, и в мраморе трещина:  
 Что делать, учитель? Твои облака  
 куда тяжелее, чем было обещано...

\* \* \*

Птичий рынок, январь, слабый щебет щеглов  
 и синиц в звукозаписи, так  
 продолжается детская песня без слов,  
 так с профессором дружит простак,  
 так в морозы той жизни твердела земля,  
 так ты царствовал там, а не здесь,  
 где подсолнух трещит и хрустит конопля,  
 образуя опасную смесь.

Ты ведь тоже смирился и сердцем обмяк,  
 и усвоил, что выхода нет.  
 Года два на земле проживает хомяк,  
 пес – пятнадцать, ворона – сто лет.  
 Не продлишь, не залечишь, лишь в гугле найдешь  
 всякой твари отмеренный век.  
 Лишь Державин бессмертен, и Лермонтов тож,  
 и Бетховен, глухой человек.

Это – сутолока, это – слепые глаза  
 трех щенят, несомненно, иной  
 мир, счастливый кустарною клеткою за  
 тонкой проволокою стальной.  
 Рвется бурая пленка, крошится винил,  
 обрывается пьяный баян,  
 и отправить письмо – словно каплю чернил  
 уронить в мировой океан.

\* \* \*

Один предмет шепнул другому:  
 «Дружок, на свете счастья нет!  
 И отгремит, подобно грому,  
 любой возвышенный предмет.  
 Подлунным миром правит золото,  
 а не бессмертная душа,  
 вотще стрела по циферблату  
 ползет, окружности верша!»

«О нет, наш жребий все же светел,  
 хоть сон господень и глубок, –  
 другой предмет ему ответил,  
 блеснув хромированный бок.  
 Пускай мы вечными не будем,  
 не сочиняем, как Парни,  
 но мы с тобою служим людям  
 и так же смертны, как они».

На чью же сторону я встану,  
 какой я выберу предмет?  
 Одушевленную сметану,  
 в которой молодости нет?  
 Графин? Печальный ли транзистор?  
 Велосипедный ли насос?  
 Немало в жизни неказистой  
 замысловатейших вопросов.

Ликуй, предмет, слуга народа,  
 и многочислен, и хорош.  
 Но что есть плен, а что свобода,  
 ты вряд ли, бедный, разберешь.  
 Лишь мы, мы, сапиенсы то есть,  
 умеем, в частности и я,  
 понять родительскую повесть  
 о тайных крохах бытия.

\* \* \*

где ни ковбоев ни лассо  
 но бирюзовы неба своды  
 существовал анри руссо  
 печальный пасынок природы  
 он не сбивал соперник с ног  
 мечтая парковой скамейке  
 быв непосредственный сынок  
 жестянщика и белошвейки

как белый тигр он бодро жил  
 мещанской радостью несложной

сержантом в армии служил  
дружил с парижскою таможенней  
эх бриолином по усам  
не узревая в тихом мраке  
над чем корпеют мопассан  
гоген и прочие бальзаки

но жизнь сплетенье ног и рук  
и ныне и во время оно  
се, шестигранный пушкин вдруг  
явился юному планктону  
и громыхнул ему восстань  
умойся почешу власы и  
живописуй про инь и янь  
воспой страдания россия

с тех пор таможенник простой  
забыв нехилые откаты  
и тесных офисов отстой  
художник стал продолговатый  
его читают и в нью-йорк  
и в петрограде обреченном  
и дарит он ночной восторг  
сердцам искусством облученным

\* \* \*

музы! чтоб вам было пусто!  
аполлон увы солгал  
волочился за искусством  
вирши ладные слагал  
воспевал родное время  
то хай-тек то смертный страх  
получил немножко премий  
в инвалюте и рублях

по квартире бы развесить  
те дипломы а денжат  
хватит ужинов на десять  
с фуа-гра и оранжад  
чтоб завидовали люди  
стихла мать сыра земля  
и грустил омар на блюде  
хрупким усом шевеля

современники-потомки!  
не пилу, не ватерпас –  
я таскал в ночной котомке  
слов раздвоенных запас  
и шептала жизнь дурная  
что я глуп и сердцем гол

и грустил я заклиная  
огнедышащий глагол

в переносном смысле канув  
в стикс предав меня едва  
горсткой дохлых тараканов  
стали бедные слова  
если время – бога имя  
то зачем я проглядел  
мир маячащий за ними  
детской радости предел

\* \* \*

Было: медом и сахаром колотым –  
чаепитием в русском доме, –  
тонким золотом, жаром и холодом  
наше время дышало во тьму,  
но над картой неведомой местности  
неизвестная плещет волна –  
то ли Санкт-Петербург и окрестности,  
то ли гамма в созвездии сна –  
и окошки пустые распахнуты  
в белокаменный вишневый сад,  
где игрок в кипарисные шахматы  
на последний играет разряд.

Пусть фонарь человека ученого  
обнажил на разломе эпох,  
что от белого неба до черного  
только шаг, только взгляд, только вздох –  
пусть над явной космической ямою,  
где планета без боли плывет,  
золотою покрыт амальгамою  
крутокупольной истины свод –  
пусть престол, даже ангелов очередь –  
но учителя умного нет  
объяснить это сыну и дочери,  
только свет, улетающий свет.

Вот и все. Перебитые голени  
не срastутся. Из облачных мест  
сыплет родина пригоршни соли на  
раны мертвые, гору и крест,  
на недвижимую тень настоящего –  
костяного пространства оскал, –  
отражения наши дробящего  
в бесконечной цепочке зеркал.  
Утро близится. Уголья залиты.  
Поминальные свечи горят.  
На каком ледяном карнавале ты,  
брат мой давний, бестрепетный брат?

\* \* \*

Ночь застыла начеку, сжала кулачок.  
 Выпью стопку коньячку, лягу на бочок,  
 пусть услышится сквозь стон: ветер вербу гнет,  
 мышка серая хвостом весело махнет.

Поворкуй, голубка-кровь, спутница души.  
 Спросишь: смерть или любовь? Обе хороши.  
 На обеих спасу нет, обе из глубин  
 сердца похищают свет и гемоглобин.

Неуютной ли зиме, ветру ли под стать,  
 обе рвутся в полутьме грешное шептать.  
 Так и дремлешь – грустен, прост, –  
надышавшись – ах! –  
 поздней оторопью звезд в робких небесах.

\* \* \*

Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов,  
 знал художников немного и известных мудрецов.  
 Рассуждал о коммунизме, о стихах, о смысле жизни  
 или шахматной игрой с ними тешился порой.

И не просто для забавы эти творческие львы  
 говорили мне, что слава слаще меда и халвы, –  
 что в виду они имели, сочиняя эту речь,  
 олимпийцы, чем хотели друга скромного увлечь?

Слава – яркая заплата. Это Пушкин написал.  
 Но она же и зарплата, и шампанского бокал.  
 Был я полностью согласен и завистливо глядел,  
 представлялся мне прекрасен этот радостный удел.

Но успешно миновала юность робкая моя.  
 И давно забочусь мало о таких моментах я.  
 Больше нет советской власти, лишь доносится  
в ночи:  
 не ищи, бахытик, счастья, легкой смерти не ищи.

Даже слава – только слово, уходящее во сне,  
 вроде саши соколова по серебряной лыжне,  
 вроде рюмки алкоголя, вроде флоксов на столе –  
 вроде ветра в чистом поле в вологодском феврале...

Санджар ЯНЫШЕВ

# ТРИНАДЦАТЬ РЮМОК БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ИЛИ МОМЕНТ МИСТИКИ



## РЮМКА ПЕРВАЯ. «Я НЕ ПИСУЧИЙ, А ПЛОДОВИТЫЙ»

**С.Янышев:** – Бахыт-ага, с тех пор как...

**Б.Кенжеев:** – ...С тех пор как вечный судия / Мне дал призвание пророка... Помнишь, как Хармс говорил: «Смотрю утром в зеркало. Боже мой, какой я умный, какой красивый!.. Все так меня любят!.. А денег почему-то мне никто не дает. Люди, дайте мне как можно больше денег, и вы увидите, как я буду доволен!» (Смех).

**С.Янышев:** – С тех пор, как мы последний раз с вами виделись, вы пожали уйму литературных премий. Как он, нимб (в смысле, венки лавровый), прочно держится на голове?

**Б.Кенжеев:** – Да. Да. Да. Будучи, как мы все, человеком тщеславным, я очень пристально слежу за собственной канонизацией. У меня «живой журнал» в интернете, и, конечно, я отслеживаю упоминания имени Бахыта, подсматриваю разговорчики,.. иной раз, доложу тебе, довольно нелицеприятные... Например, недавно я поместил в журнале пяток стихотворений, таких трагических, слезных. На днях получаю е-мэйл: «Ну, какой ты, на х.., поэт! Что ты морочишь голову – себе и людям?» Я очень веселился. Отвечаю: «Может оно, конечно, и так, но зачем же грубить – мы ведь не в трамвае?»

**С.Янышев:** – При этом, что удивительно: в сравнении с другими поэтами вашего поколения – да и теми, кто помладше, – вы много пишете. Вы «писучий поэт»!

**Б.Кенжеев:** – (обиженно) Я не писучий, а плодовитый.

### РЮМКА ТРЕТЬЯ. «...ТОЛЬКО УЗЕЛКИ»

**С.Янышев:** – Чрезмерное употребление – оно пока еще не препятствует?

**Б.Кенжеев:** – Я тут к доктору попал: давление сумасшедшее. Доктор мне и говорит: вот вам лекарство на каждый день – и никакого алкоголя. «Вы знаете, – отвечаю, – я не могу обойтись без алкоголя, по очень простой причине». – «По какой?» – «Я поэт, и у меня на плечах лежит весь груз мировой скорби. Я, – говорю, – этим лечусь, иначе суицидальный буду». «По этому вопросу идите к психиатру, а я что могла сказать – сказала» (смех). На самом деле, я пью не так много. Мой покойный друг поэт Саша Сопровский пил больше.

**С.Янышев:** – Иные поэты стихи «вышагивают», «выборматывают», иные – рожают, тупо уставившись в чистый лист бумаги или экран монитора. А вы, Бахыт-ага?

**Б.Кенжеев:** – О, творческая кухня писателя... Мой покойный друг поэт Саша Сопровский, который был главным основателем группы «Московское время» (в нее также входили Цветков, Гандлевский и ваш покорный слуга), выпив, говорил: «Одним из доказательств существования Бога служит тот факт, что чудный дар Он, как монетки в толпу, бросает не глядя – кому что перепадет. Если бы Его не было, то разве стали бы поэтами этот чучмек\*-фарцовщик (то есть Кенжеев) и этот филологический мальчик из интеллигентной семьи (то есть Гандлевский)?»

Он, конечно, прав. Сидишь, бывало, ничего не делаешь, вдруг какая-то строчка... Ты ее

запоминаешь. Потом она обрастает другими строчками. После ее можно и потерять. Это всякий раз – неожиданно. И всегда – ощущение полного счастья, потому что тебя это не оставило. Как небольшое любовное приключение: в моем возрасте этому всякий раз радуешься. Я считаю себя очень счастливым человеком. Прежде всего потому, что сочиняю стишки. Да и во всем остальном как-то всегда везло. Иной раз какая-нибудь гадость случается, а потом вдруг выясняется, что – на пользу. Я уверен, у тебя так же.

Случайностей не бывает. Где-то в стихах я процитировал Набокова: наша жизнь – это изнанка ковра. Сам узор нам видеть не дано – только узелки. Но узор-то есть – и великолепный. И мы можем о нем догадываться.

### РЮМКА ПЯТАЯ. «...ЧЕРЕСЧУР ГЛАДКО...»

**Б.Кенжеев:** – ...Когда я был маленький, я никак не мог понять, почему некоторые художники считаются великими, а другие – нет. Казалось: побросал на стол рябчиков, фазанов, положил ананас, зарисовал – и все (раз людям это нравится). Нет. Оказывается, голландские мастера умели так раскидать рябчиков и фазанов, и так их изобразить, что они великие художники, остальные – дрянь. Какой-то здесь секрет есть.

Мне приятно, что я именно с тобой веду беседу, потому что ты ведь не станешь спорить, что искусство – мистическое занятие? Иногда, конечно, нет – когда речь идет о романах в пестрых обложках, которыми сегодня забиты развалы. Коэльо или Мураками – это, вопреки общему мнению, никакая не литература, а, как писали Ильф и Петров, один из 100 и 1 сравнительно честных – и без всякой мистики – способов отъема денег у граждан.

**С.Янышев:** – Помните, как-то мы говорили о том, что после чтения, допустим, Исаака Башевиса Зингера в памяти не остается ничего, кроме ощущения магии, волшебства? В жизни это дано в меньшей концентрации: роман мы прочитываем за несколько дней, а жизнь проживаем всю жизнь. С другой стороны жизнь убыстряется, и для меня в последние годы соотношение изменилось. Концентрация чуда в жизни по крайней мере такая же, как в литературе (если не выше)...

**Б.Кенжеев:** – Тебе везет. Но Господь Бог иной раз подвергает нас испытаниям, а иной раз вообще о нас забывает. Если Он своего сына забыл – на крест послал, – значит и нас в любой момент может забыть. И даже – на всю жизнь, если тяжело согрешим.

**С.Янышев:** – А я не верю в Его забывчивость.

**Б.Кенжеев:** – Это не забывчивость, а – проучить хочет. Или испытать. Или ты Ему просто надоел. Вот

смотри: кого он любил из русских поэтов? Пушкина любил. Но послал же его на мученическую смерть! Мандельштама – как Он любил. Сделал его первым русским поэтом XX века. А как тот, бедный, погиб? Бьет – значит, любит, как говорят в русских деревнях.

**С.Янышев:** – Ахматова говорила о «тунейдце» Бродском: «Какую биографию делают нашему рыжему!». Вам не хотелось бы подобной биографии? Как-то чересчур гладко всё обстоит у русских поэтов в последние 10-15 лет. Это ведь ваша мысль: сегодня поэту, чтоб состояться, совсем не обязательно голодать или мыкаться в поисках жилья, как Мандельштаму?

**Б.Кенжеев:** – Надежда Яковлевна на эту тему уже высказалась. Мол, идиоты критики утверждают, что Мандельштам стал великим поэтом потому, что так сильно страдал. Отнюдь. Если бы он страдал поменьше, то, может быть, писал стихи еще лучше. Дорогой Санджар, поэту, конечно, надо страдать (это звучит уже как пошлость). Но не надо ломать ему коленную чашечку.

**С.Янышев:** – Это – об отношениях поэта с другими. А с самим собой? Хочется ведь гореть?

**Б.Кенжеев:** – Кому хочется, кому нет. Есть люди, которые пишут академические стихи, и очень приятные стихи (я их, правда, не очень люблю). Ну, Пастернак был достаточно благополучным человеком. Конечно, и друзей стреляли, и самого какое-то время не печатали, но – мы недооцениваем степени его благополучия. Какое-то время он отказывался от звания первого советского поэта, говорил: пусть лучше будет Маяковский. Тем не менее, стихи писал хорошие. Я, допустим, больше люблю Осипа Эмильевича. Но пример Пастернака доказывает, что можно быть значительным поэтом без особых внешних страданий. Всегда достаточно внутренних. Всегда достаточно несчастных любвей... Смертей близких...

## РЮМКА СЕДЬМАЯ.

### «...БЫЛ НЕ ИДИОТ»

**С.Янышев:** – Бахыт-ага, а как насчет искушений? Для одних существует десять заповедей, для других – сто. Можно им неукоснительно следовать и таким образом на все оставшиеся дни застраховать себя от падений. Все очень просто. Как там у Оскара Уайльда: «Вы искушаете провидение!» – «О, провидение давным-давно научилось не поддаваться искушениям».

**Б.Кенжеев:** – Еврейский анекдот десятого века. Приходит молодой человек к двум знаменитым толкователям Торы – то есть Ветхого завета – и говорит: «Я хочу изучать Тору. Можете ли вы, пока я стою на одной ноге, сообщить мне, в чем смысл Торы?». Один из толкователей отвечает: «Смысл Торы

заключается в 10 заповедях, данных Моисею на горе Синай». «Да Господи, – отвечает второй толкователь, – вся Тора сводится к одному-единственному принципу: не делай ближнему того, чего ты не хочешь самому себе. А остальное – комментарии». (Смех).

Тот же принцип перешел и в Новый Завет: Христос его не называет прямо, но это следует из самого учения Иисусова. «Если кто подаст на тебя в суд за рубашку, то отдай ему также и верхнюю одежду».

К сожалению, буквально жить по христианским заповедям мы не можем, потому что слабы. И если на нас подадут в суд за рубашку, мы будем сопротивляться: адвоката найдем и рубашку постараемся не отдать, тем более верхнюю одежду. И щеку подставлять не будем. Что, на самом деле, неправильно. Поскольку Иисус Саваофович был не идиот. Я глубоко ему верю.

Так вот, искушению можно поддаваться при одном маленьком условии: во-первых, не сделай зла другим...

**С.Янышев:** – Но ведь «не ведаем, что творим»...

**Б.Кенжеев:** – А во-вторых, если творишь зло, то – не из корыстных соображений. Вот слово «корысть» для меня ключевое. Нельзя, скажем, ухаживать за девушкой только затем, чтобы ее добиться (известная всем мальчикам корысть). Должна быть любовь – которая под конец может тебя даже и разрушить. Но тогда, как ни странно, можно. Например, сказано: не укради. Возможно, этому искушению не надо поддаваться. Но если ты хочешь украсть строчку у Мандельштама, то и черт с тобой. Твой риск. Если нарушение заповеди делает тебя добрее и глубже, может, и стоит иногда ее нарушить. Ты не согласен?

**С.Янышев:** – С последней посылкой? Она противоречит предпоследней.

**Б.Кенжеев:** – Поэты – противоречивые люди. Думаешь, на все есть рецепты? Поэт должен жить нормальной человеческой жизнью.

**С.Янышев:** – Я знал поэтов, для которых цель всегда оправдывала средства. Целью, скажем, было хорошее стихотворение, в средстве – растоптанные жизни, бабы, друзья...

**Б.Кенжеев:** – Меня в этом упрекали. Мол, ради стишка я готов зарезать родную маму. Нет. Я не буду резать маму, чтобы потом насладиться собственным падением и отразить его в прекрасных стихах... Это Брюсов мог влюбить в себя какую-нибудь девочку, свести ее с ума, довести до того, что она сначала стреляет в него, потом в Белого, а после кончает собой. Или тот же Есенин, который был фантастически безнравственный человек. Впрочем, он за это расплатился, и судить его я не могу. Как расплатился Маяковский, который продал свою поэтическую душу – за деньги, автомобиль и заграничные поездки. Мне очень хотелось бы кинуть камень на его могилу, но... Он расплатился сполна.

**С.Янышев:** – Получается, цель – это золотая

середина? Потому что – ни то, ни это. Ни пасть, но и не впасть в прелесть.

**Б.Кенжеев:** – Думать надо поменьше и делать так, как душа тебе велит.

## РЮМКА ДЕВЯТАЯ.

### «...АНАНАС ЗА ТРИ КОПЕЙКИ»

**С.Янышев:** – Бахыт-ага, ваше определение нормы?

**Б.Кенжеев:** – Норма – это, как учит писатель Сорокин, порция кашешек, которую ежедневно получал и съедал рядовой советский человек.

**С.Янышев:** – Незадолго до смерти академик Лихачев дал определение интеллигентному человеку: это тот, кто все время меняется.

**Б.Кенжеев:** – Правильно, человек должен меняться.

**С.Янышев:** – ...Это человек, который может менять свое мнение.

**Б.Кенжеев:** – Сто процентов.

**С.Янышев:** – И с этой позиции: что для вас норма?

**Б.Кенжеев:** – Для меня норма – это жить, и жить интересно. Не останавливаться. Человек, остановившийся в развитии, умирает духовно – и просто доживает свою жизнь физически. К новым временам надо приспосабливаться. Их надо понимать. Нельзя говорить, что «в наши времена вода была мокрее, а женщины – моложе». Все времена одинаковы. И понять это очень важно. Норма – всегда быть в гармонии с наступающим временем. А что норма для тебя?

**С.Янышев:** – Для меня сегодня норма – то, что произошло со мной. Эмиграция, которая – благо: не важно, куда. В Россию, в Зимбабве...

**Б.Кенжеев:** – В Россию лучше. Здесь у тебя грандиозное преимущество: язык. Всё другое, а язык...

**С.Янышев:** – С другой стороны, я всегда грезил об Африке, как Гумилев.

**Б.Кенжеев:** – Да ты бы там уже умер от СПИДа.

**С.Янышев:** – Вот ведь, современный вы все-таки человек. Мне кажется, даже более современный, нежели я.

**Б.Кенжеев:** – Ты филолог, Санджар (по образованию), а я химик. Химик – то есть специалист по естественным наукам – по определению открыт всему новому. А гуманитариям свойственно лить слезы над утраченным Золотым веком. Или Серебряным. Или Палладиевым. На самом деле, основная доминанта человеческого развития в том, что мы, как ни странно это звучит, живем лучше. Медленно, но верно.

**С.Янышев:** – Что значит – лучше? Что мы пьем виски за 16 долларов?

**Б.Кенжеев:** – Я многодетный отец, и мой критерий в том, что снижается детская смертность.

**С.Янышев:** – Так ведь и детская рождаемость падает.

**Б.Кенжеев:** – Это другая история. Но сегодня ребенок, рождающийся в Африке, имеет шансов умереть в пять раз меньше, чем тридцать лет назад.

**С.Янышев:** – Знаете, главная трагедия человека, особенно человека пишущего...

**Б.Кенжеев:** – ...В том, что он живет, живет, а потом поддыхает.

**С.Янышев:** – В том, что он живет в рамках своей жизни. Вы говорите: «тридцать лет назад»... А сто лет? А пятьсот лет назад? С одной стороны, ничего с тех пор не изменилось. А с другой: тридцать лет включены в вашу жизнь. Да, в пределах вашей жизни жить стало лучше...

**Б.Кенжеев:** – Был всего один человек-писатель, которого я знаю, – который обращал такое же внимание на материальную сторону жизни, как я. Это Иван Гончаров. Ему принадлежит гениальный афоризм: «В чем есть задача цивилизации? Задача цивилизации – чтобы в Петербурге продавался ананас за три копейки. А дальше люди сами разберутся в своем устройстве». Вот в этом плане жить стало лучше, жить стало веселее. В плане духовном перед человечеством стоят ровно те же проблемы, которые стояли всегда. Вера... Любовь... Надежда... Их, к сожалению, не решить ни ананасом, ни персиком.

**С.Янышев:** – «Вера, Надежда, Любовь» – они до сих пор составляют нерушимое триединство? Мне кажется, если убрать оттуда «веру», то слово «надежда» будет пахнуть весьма меркантильно и... сиюминутно.

**Б.Кенжеев:** – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья (Мудрость). Не я это придумал, но я уважаю людей, которые жили до меня и были гораздо умнее, чем я. Так я лучше буду держаться этого. Мы говорили сегодня о заповедях. Апостол Павел сказал, что высшая из них – возлюби ближнего своего, как самого себя. Что совпадает с той, о которой мы говорили раньше. Если поставить во главу угла Любовь, то можно как-то прожить свою жизнь без того, чтобы было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Желаящих отсылаю ко Второму посланию коринфянам... Как интересно: мы говорим больше часа, а пришли к этому только что.

## РЮМКА ТРИНАДЦАТАЯ.

### «ОН БЫЛ КАЗАХ»

**Б.Кенжеев:** – Ты не представляешь, Санджар, как тебе повезло. Ты фактически – почему я твои стихи-то люблю, – прожил ту же жизнь, что мы. В том же возрасте, что и мы, ты оказался в ситуации тоталитаризма (в твоём случае узбекского) – с возможностью, правда, легкой эмиграции. Думаю, для людей, которые родились на периферии бывшего Советского Союза, Москва – это достаточная эмиграция.

**С.Янышев:** – Мне повезло гораздо больше, чем вам, по другой причине: я видел развал империи – это меня сформировало. Конец Империи тоже ведь может стать личной драмой. Для вас было иначе: вы к тому времени уже давно оформились...

**Б.Кенжеев:** – Когда развалилась империя, я ужасно обрадовался. Я вообще сторонник развала всех империй.

**С.Янышев:** – Давайте поговорим о нас, чучмеках. И о, как там у вас говорят, identity. Есть такая группа русских поэтов «Ташкентская школа», которая выросла на обломках империи и насквозь пропитана существовавшей на окраинах полифонией, многоголосьем – языков, укладов и вер. В отличие от многих других поэтов – выходцев оттуда, которые приезжают в метрополию и моментально здесь растворяются, поглощаются тутошной стилистической и прочей нормой. С вас, Бахыт-ага, другой спрос: до канадской эмиграции вы были москвичом...

**Б.Кенжеев:** – У каждого художника есть что-то уникальное. Господь Бог устроил так, что именно это уникальное (может быть, в преобразованном виде) и становится искусством. Мандельштам был сыном торговца кожей. И это никак в его творчестве не отразилось.

**С.Янышев:** – А «Шум времени»?

**Б.Кенжеев:** – Вот тут я вынужден процитировать Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил: «Очень забавны попытки активистов еврейской культуры причислить Осипа Эмильевича к этой культуре. Нет: он – наш». Конечно, еврейская тема у Мандельштама – как у меня казахская, или у тебя, Санджар, узбекская, – никакой роли не играет. Они есть – и слава Богу. Они обеспечивают достаточную маргинальность. Когда мне говорят, что Мандельштам еврей, я, как Аверинцев, говорю: «Не-не-не, ребята, вы нашего Осипа Эмильевича не трожьте. Он был казах». (Смех).

Вот, скажем, был такой прекрасный русский поэт Булат Окуджава. Батюшки святы, моя самая нелюбимая у него песня – «Грузинская» («Виноградную косточку в теплую землю зарюю...»). Тем не менее, вещи, которые мы усваиваем в детстве, в юности, – они очень важны. И я абсолютно убежден, что не было бы Булата Шалвовича без его национального происхождения, без детства в Грузии

и без влияния армянской культуры (он по матери армянин). Много было чучмеков в русской поэзии, и все хороши.

**С.Янышев:** – Назовите десять.

**Б.Кенжеев:** – Та-а-к... Я назову десять условных чучмеков. Это негр Пушкин. Это шотландец Лермонтов. Это итальянец Тютчев. Это еврей Фет. В XX веке евреи в поэзии, конечно, сильно потеснили других... Татарка Ахматова и – в новое время – татарка Ахмадулина. Осетин Тимур Кибиров. Олжас Сулейменов – пишущий на русском языке европейский поэт казахского происхождения. В чем-то ему близок узбек Шамшад Абдуллаев. Да и мы с тобой, Санджар, не последние пасынки русской поэзии.

Когда ты живешь в чужой культуре, и у тебя есть еще хотя бы слабая причастность к другой культуре – даже если ты не знаешь языка, – это фантастически обогащает. Должно быть, это одна из причин, по которой евреи такие талантливые. Мое любимое слово – маргинальность. Недавно один из моих любимых писателей, В.С.Нейпол, получил, наконец, свою вполне заслуженную Нобелевскую премию. И тем самым как бы доказал важность маргинальности, ибо он, во-первых, родился на острове Тринидад, во-вторых, по национальности индеец, предки которого родом из Восточной Африки, в-третьих – с 18-ти лет живет в Лондоне.

Что касается Бахыта Кенжеева, то ничего собственно казахского в моих стихах, конечно, нет. Если, конечно, не считать духа кочевничества. Как я уже много раз говорил, такие слова, как «кумыс», «кобыз», «юрта» звучат в стихах так же глупо, как «кокошник», «наличник» и «трехрядка». (Между прочим, в Алма-Ате бытует выражение «кумысный патриотизм»). Я наполовину русский, по-казахски не говорю, да и культуру казахскую знаю неважно. Вот тут и наступает момент мистики. Что-то (или кто-то – Бог?) заставляет меня чувствовать себя чучмеком.

*\*Чучмек (просторечн.) – 1) в России — выходец из Средней Азии или Кавказа, тамошний коренной житель. 2) маргинал в самом широком смысле слова (в том числе – в искусстве, литературе).*



© Периодическое издание «Ассоциации литераторов – АБГ» и лито «МОЛОТ О.К.» (Тбилиси, Грузия) <http://abg-molotok.ge>  
Эл. почта: [abgl@yandex.ru](mailto:abgl@yandex.ru)

Издаётся на средства редколлегии

Аватар редколлегии не отбрасывает тени на публикуемых авторов.

**Редакционная коллегия:**

Сусанна Армянян,  
Ада Джилавдарова,  
Анна Шахназарова,  
Дмитрий Лоскутов,  
Михаил Ляшенко,  
Николай Ломидзе.

*Рукописи не горят, не возвращаются и не комментируются. При перепечатке материала ссылка на данное издание обязательна.*